



РОССИЯ
ДЕРЖАВНАЯ

ДМИТРИЙ
ВОЛОДИХИН

СМЕРТНАЯ
ЧАША



Россия державная

Дмитрий Володихин

Смертная чаша

«ВЕЧЕ»

2018

Володихин Д. М.

Смертная чаша / Д. М. Володихин — «ВЕЧЕ», 2018 — (Россия державная)

ISBN 978-5-4484-7177-3

Во времена Ивана Грозного над Россией нависла гибельная опасность татарского вторжения. Крымский хан долго готовил большое нашествие, собирая союзников по всей Великой Степи. Русским полкам предстояло выйти навстречу врагу и встать насмерть, как во времена битвы на поле Куликовом.

ISBN 978-5-4484-7177-3

© Володихин Д. М., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Часть 1. Тишина	6
Глава 1. Бойцы	6
Глава 2. Девичьи слезы	12
Глава 3. Голубиная сила	16
Глава 4. Хозяева Руси	25
Глава 5. Русский мёд	31
Глава 6. Добрые люди	35
Глава 7. Изветное челобитье	39
Глава 8. Иноземный узор	40
Глава 9. Мятеж	44
Часть 2. Нашествие. Апрель – май 1571	49
Глава 10. Милость Господня	49
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Дмитрий Володихин

Смертная Чаша

© Володихин Д.М., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

* * *

Часть 1. Тишина

Глава 1. Бойцы

– ...От той невесты я сбежал. И ведь шло дело к венцу, между мною и отцом ее всё вроде сладилось. Товарищи мои подговорили сваху, а та подговорила дворовых девок, а те подговорили молодую... словом, показалась мне она раз... издалека... в оконце в чердачном. Как раз я мимо на коне проезжал...

– Случайно ль, Митрей Иваныч?

– А как же? С обедни до сумерек знака ждал, когда из переулочка на Ордынку трогать, вот и вышло в самый раз случайно... комар носа не подточит.

– А хороша ль девка, милостивец?

– Худого слова не скажу, а на доброе язык не поворачивается. Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. С ума не спрыгнешь, но и сплюнуть не отворотишься. Ничего. Жить можно. С моей-то рожею грех жаловаться – вся исполосована, иную девку с одного погляду удар хватить может. Да и не резов я за лебедушками гоняться – щенячьи годки давно минули, хребтом без скрипу не повертишь, а в хвосту блоха поседела. Дом привести в лад бы надо, вот о чем думал.

– Без любви, что ль, к невесте-то, друг любезный?

– Была бы баба, любовь наладится. Невеста помещишниками не обижена, род старинный, хоть и малость захудал, в опалах не бывали. Чего ж еще-то? А вот на тебе! Трапезовал с родителем ее ввечеру. Душевный человек, и разговорный – страсть! Всё про свейскую войну мне сыпал без перерыву... Засиделись мы...

– А...

– Не сепети, слушай. Сидим, мне о свях занятно, я на той войне не бывал, повадку их не ведаю... Вдруг переполох в дому. Грому-то, звону-то, криков! Влетает сенная девушка: «Ахти! Княжну овинник сглазил! Обмерла...» Ай! Где ж тот овинник? То ли не овинник пожаловал, а цельный упырь со смиренного кладбища набежал! Ой! Страсть Господня! Хозяин: «Зови попа! Беги да буди его сей же час! Нечисть молитвою да святой водой погоним!» Ого-го! А мне сумнительно: от овинника спокон веку зла людям не бывало, слаб. А упыри всё больше меж сёл скочут, – по городу как он пойдет, когда кругом церкви Божьи? Ну, говорю, покажи мне того упыря. Авось, говорю, с молитвою да сабелькой добуду шкуру его. Эвона! Не пойдем, жутко! Сам хозяин с лавки не слазит, тоже, видать, до костей пробрало... Понятно, старый уже, не тот жар в нем. Ин ладно, говорю, издаля покажите анчутку. И-эх! Токмо разве, отвечают, совсем издаля. Ну, хыть так. Выходим на крылечко. Где ж нечистик-то? А тамотки, на дворе, у анбара у дальнего! И глаза-то его поганые как горят! У-уу! И слышу – хлоп дверью у меня за спиной! Мол, назвался груздем – полезай в кузов, а мы пока в тишине побудем, ибо под лежачий камень вода не течет... Что теперь? Ну, схожу с крыльца, гляжу – да, свет истинно диавольский! Смерть лютая в темени затаилась, кровушки человечьей ищет... Саблю в ножны вкладываю, ком грязи беру и под крыжовенный куст кидаю. «Мяу!!» – смерть лютая кричит, недовольна.

– Я вот тоже раз ночью кота в жите видел. Он так очами светит, точно...

– Дай доскажу, Кудеяр. Словом, прогнал кота, аж мне жалко его сделалось. Скотина несмысленная в чем виновата? Плюнул, домой пошел. И что, думаю, за жена из этакой обмирахи выйдет? Дура же. На плечах горшок треснутый, каша вытекает. Ну и сказал им, мол, истинно упырь там был, а раз он на девицу сглаз положил, то мне до нее дела нет, мало ли какая кривина потом от того сглаза выискается! Мне, понятно, хульных и поносных слов полный туес, а я тверд. От дуры-то один убыток... Так и ушел.

Стоял январь, шел третий день после Богоявления.

Зимнее солнышко, по тайным теремам за холстиною застиранной прячущееся, греющее скупое, на свет нещедрое, даже в пору полуденную редко закидывало из-за туч тусклую блесну в людской мир. Ловило на нее жадные взоры человеков да складывало добычу в берестяной короб, но само лика не казалось.

Ночью выюжило, и теперь два всадника торили путь по снежной выпадке в семь пальцев толщиной. Змеилась лесная дорога, вороны обкаркивали людей. На безлюдье и беззверье два человека при двух конях – хоть какая-нито забава горластому вороньему племени.

По обочинам сугробные округлости пестрели лунками, что оставили тетерева, ночевавшие в снегу.

– А Дуньку нашу, сестрицу мою, ты за дуру не считаешь ле? Она душа простая, но не королюба, ты худого про нее не думай... – с некоторой неуверенностью вновь заговорил тот всадник, которого звали Кудеяром.

По морозцу ехал он с голою бритой головой и не обращал внимания на холод. Чуть выше лба виднелась глубокая язва, еще не совсем зажившая и потому покрытая кровавой коркой. А по виску, у левого уха, тянулась косая белая черта – шрам, выцветший от давности. Шуба его беличья видывала когда-то лучшие времена, да изветшала. Сапоги из дорогой белой юфти, со щегольскими острыми носками, тут и там подпорчены были царапинами. Только сабля – с золотой насечкой на перекрестье, в ножнах фарсидской работы, бирюзою и яшмой украшенных, смотрелась богато. Всадник был широк в плечах, сидел на коне ладно, руки имел не по-человечьи длинные, словно у лесного чудовища. К саадаку его крепилось помело с коротким черенком, на шее у коня болтался собачий череп с залитыми свинцом глазницами.

– А мне до того дела нет, – долго помолчав, откликнулся второй конник.

Этот ехал в лисьей шапке с длинной жемчужной кистью и в лисьей же шубе добротного вида. На передку шапки суровой нитью крепился фряжский золотой – государева награда. Всадник намотал длинный повод на палец левой руки, из чего любой добрый служилец легко бы вывел: вот боец, привычный к луку, ибо кому одного пальца хватает, чтобы управлять поводом, тот ловко управится и с саблей, и с плетью, и с луком в одно и то же время, повода не отпустив. Конь шел под ним так, будто они с хозяином разом выскочили из одного материнского чрева и с тех пор не расставались. Сам же всадник был не высок и не низок, не сух и не жирён, всеми частями тела соразмерен. Лицо его могло бы напугать иного неробкого человека: один след сабельного удара рассекал ему верхнюю губу, другой тянулся к уху, лишенному мочки, третий взбегал с брови на чело, а четвертый бороздил щеку, оттягивая кожу под глазом; ветер вольно гонял мелкие снежинки по руслам рассечек.

Клинок он имел прямой, длинный, тяжелый, под стать прадедовским мечам. Ножны поблескивали накладками из позолоченного серебра с чернью, умельцы отчеканили на них льва да святого Егория на коне. Рукоять изогнута. Концы у перекрестья опущены вниз, к острию. Если поймать неприятельскую саблю в изгиб такого перекрестья, то, изловчась, можно вырвать ее из руки. За пояс конник заткнул топорик.

– Ну да, князь Митрей, ты ж словом с нею не перемолвился, об уме ли тебе ее думать.

– Да не в том дело, – с легкою досадой отвечивал собеседник. – Я ее люблю, я в жены ее хочу, умна ль она, нет ли, хорошо ли хозяйствует или разорительница. Это всё пустое. Я ее люблю, так что веровала бы во Христа да отец бы ваш согласие дал, тут и делу конец, женюсь.

– Богомольна! И деньгами без конца сорит – всё странным да убогим людям, жалко прямо. Отец же... как-нибудь... э... э... А вороны-то... – бритый сбился, прислушался, хмурая брови, помотал головой. – Вороны-то... на кого они там... каркают....

– Угу, – подтвердил его подозрения второй конник.

– Опять сиволапы с дубьем?

На путиках-тропках негромко похрюпывал снег под сапогами осторожных ходильцев. То скрипнет-хрустнет, а то вдруг затихнет. По безветрию чужие голоса сделались доносчивыми, слово-другое, сказанные не для чужих ушей, прилетали издалека невнятными шепотками.

– Да почитай уж, полверсты бредут близ дороги. За елками хоронятся, нас, конных, тщатся догнать. Ну, пусть их.

Сей же час бритый успокоился. Улыбка едва угадываемая, яко размытая водой буква на бумаге, наплзла на его лицо.

– Отца, милостивец, как-нито уломаем, не бери в голову! Только... невдомёк мне: откуда в тебе жар такой по Дуняшке? Ты ж едва видел ее раз-другой во храме?

Товарищ ответил ему не сразу. Потер лоб, поправил шапку, ехал молча столь долго, что мог бы два раза прочитать «Верую» от начала до конца. Бритый уже и не ждал от него ответа, как вдруг услышал глухо, торопливо сказанное:

– У ней лицо как с иконы... как у Пречистой. Светлое лицо.

И тут из-за деревьев на дорогу вышли трое. Один кряжистый, низкорослый, хмурый, в овчинной шубе, с мисюркой на голове и саблею в руке. Другой – бугай древнего, богатырского сложения, словно бы из тех баечных времен, когда удалой дружинник одним ударом наземь укладывал, а другим – переулочек. Одет он был в медвежий полушубок, десницею сжимал не деревенское, а истинно боевое оружие – тяжелый клевец. Нос от удара на сторону скобочен. Третий, скоблорылый, – может, из литвы? – в колпаке на заячьем меху и теплом тегиле, целил бритому в грудь из лука. За плечами у него болтался саадак с полудюжиной стрел.

За ними высыпала нестройная куча мужиков – кто с ослопом, кто с рогатиной, кто с цепом, а кто и с простой дубиной. По смущенным рожам их кто угодно понял бы: не они тут верховодят, они – стадо, а пастыри при сем стаде первые трое.

Конники остановились перед толпою.

Хмурый сделал шаг вперед и заговорил умильно, словно бы обращался не к людям, а к блинкам с медком да сливочным маслицем, собираясь их съесть, но медля и оглядывая ядь со предвкушением:

– Добрые люди, зовут меня Залом, и я сей дороге хозяин. Слазьте с коньков, кладите зипунишки, оружишко и серебришко. До ближнего села две версты, авось добредете, боков не омморозив. Лучше бы нам миром поладить, тады щекотать вас железишком не придется... Ась?

– Ну, кто из нас? – устало вздохнув, спросил у бритого конник в лисьей шапке. – Третий же раз на проезжей дороге...

– Давай, я что ль... – с казовой ленцою отвечивал тот, медленно вытягивая саблю из ножен.

Грабастики зашумели. Кто-то поближе шагнул, кто-то подальше отшатнулся. Лучник натянул тетиву, метя в бритого, вожак поднял саблю, болбоча что-то вроде: «Э! Э! Э! Не балуй! Не балуй!» Бугай с клевцом остался неподвижен.

– Охолони, – произнес второй всадник. Лицо его, во все стороны расточенное железом, хранило покойное выражение.

Твердая рука легла на руку бритого, не давая извлечь клинок.

– Чего еще, справлюсь...

– Ведаю, Кудеяр. Жалею фофанов. Нёсмыслы, головы дуром кладут... Я сам.

Тот зло ощерился:

– Какие фофаны? Околотни, дроволобища!

Но товарищ его уже спрыгнул с коня.

Двигался он с неожиданной резвостью: разбойный люд никак не мог за ним уследить: вот, вроде там стоял, у жеребца своего, и вот уже – раз! – в шаг от старшего.

– Я окольный князь Дмитрий Иванович Хворостинин, воевода великого государя, – заговорил он неожиданно чисто и звонко. – Ежели разойдетесь мирно и дадите проехать, уйдете все живы-целы. А ежели нет, то...

– А ежели я хочу головой твоею в расшибец сыграть? – передразнил его Залом.

И хотел он еще что-то добавить, но в сей миг Хворостинин, глядя себе под ноги, пробормотал с сожалением:

– Понос слов, запор мысли...

Десница Дмитрия Ивановича сделала три неспешных движения – то есть казались они неспешными, и вроде бы не составляло никакого труда уловить намерение князя, а уловив, остановить его, но ни вожак, ни кто-либо иной из разбойной братии ничтоже не успели. Прямой клинок вылетел из ножен, глубоко рассек Залому скулу, кровь оросила снег. Рядом с алыми каплями упали в холодный пух мизинец и безымянный палец вожачьей правой руки, полетела на дорогу сабля его.

Завывая, от ловкого тычка упал Залом на лучника, и оттого первая стрела его ушла верхом, воронам на посмех. А вторую он уже не сумел выпустить, ибо левая глазница его оказалась прорублена.

– Око моё, око! Око! – взвизгнул лучник, оседая в сугроб. Обеими ладонями зажимал он глазницу, а из-под пальцев уже сочилась кровь с беловатой жижицей вперемешку.

Кто-то дернулся было сбоку с рогатиною, бугай заорал: «Бей его!», – поднимая своё страшное оружие.

Хворостинин легко отмахнул топориком, с уму непостижимой быстротой вырвав его из-за пояса, и сей же час упер острие клинка бугаю в кадык. Малая капелька побежала по сероватой, в черных пляшущих разводах, поверхности.

– Брось, фефел. Жизнь недорога? – с укоризною спросил Хворостинин.

Рядом молча катался в снегу тощий худой мужик, пытаясь срастить две части разрубленной губы и выплевывая осколки зубов. Рогатина его воткнулась рожном в снежный навал.

– До-ро-га... – прошептал бугай, роняя клевец. А уронив, тотчас заревел в голос, будто обиженный младенец. Слезы потекли по щекам его в два ручья.

Малорослый мужик с цепом метнулся было в лес, другой дернулся к обочине. Но тут Хворостинин прикрикнул на всю разбредавшуюся братию:

– А ну стоять! Стоять, снесь рачьа!

И все застыли, послушавшись его властного голоса.

– Фофаны, истинно фофаны, – ухмыляясь, молвил бритый.

Тот, что был с цепом, бухнулся на колени:

– Не губи, боярин! Помилосердуй!

И тут все, кроме бугая, от страха одеревеневшего, да трех раненых, умывавшихся кровью, разом встали на колени. Со всех сторон понеслось:

– Ради Христа! Не убивай! Мы не по воле своей! Мы христьяне, у нас детки дома! Пощади, боярин! Бога не гневи! Помилуй, помилуй!

Бугай наконец ожил. Медленно увел он пальцами топорик от кадыка, отвесил зёмный поклон, и лишь потом осмелился заглянуть в глаза Хворостинину.

– Смилуйся... Молим тя, – и вдруг повалился Дмитрию Ивановичу в ноги, пронзительно крича:

– Меня возьми! Одного! Оставь мужичье, засельщину! Я таперя за старшого, я холоп боевой! Кинь мужичье! На мне грех! Меня ссеки! Одного! А-дна-во-о-о!

– Цыц! – гаркнул Хворостинин.

Все умолкли. Лишь раненые стонали.

– Как зовут?

– Я-то? Прозвищем Гневаш Заяц, – ответил бугай, не отрывая лица от снега. – А крещен Михайлой.

Хворостинин изумленно покачал головой.

– На себя берешь?

– Беру, боярин. Чем оделишь, за всех прийму...

– Эвона... Первой тут боевой холоп глазницу нынче себе ковыряет, другой пальцы свои кривые по снегу ищет, и оба они тебя тут нарочитее. А ты, Заяц Разгневанный, стало быть, чужое воровство на себя берешь?

– Беру... – глухо подтвердил бугай.

Дмитрий Иванович молча развязал калиту на поясе, не глядя зачерпнул горсть серебряных копеечек да бросил на утопанное место.

– Хоть и дурень, а праведный... Ради твоей дуrolомной праведности всех милую. На-ко, увечным на лечбу, голодным на хлеб. Забери.

Гневаш Заяц перекрестился на небо, а потом принялся чередить непослушными пальцами по сучкам-веточкам-иглочкам еловым, втоптаным в снег посереде дороги. Чешуйки копеечные едва различимы были в сером свете зимнего дня. Остановился, застыл. Судорожно, как курица, дернул головой, вперяя взгляд в Хворостинина, когда тот садился на коня.

– Бога молить за тя буду, боярин!

– Смотри, лоб на поклонах не расшиби, – насмешливо бросил ему Хворостинин, проезжая мимо.

Кудеяр живо догнал его.

– Я бы их не хуже ссёк.

– Знамо, – безмятежно ответил князь. – Ты лучший боец от Коломны до Костромы. На саблях сходиться, так и я тебя слабее. Татарский бой тебе ведом, фряжский, немецкий... я вот немецкому не учен...

– Покажу! Видит Бог, всё тебе покажу! А ты меня старой русской рубке обучи, прадедовской. Обучишь? А? Обучишь? Скажи!

Дмитрий Иванович пожал плечами да качнул головой, мол, отчего ж... невелико сокровище.

Бритый, однако, не уgomонился. Горяча коня, он подскакал поближе к воеводе.

– Больно ласков ты, Митрей Иваныч, с лихими-то людьми. Положить бы всех! Дрянъ же народишко.

Хворостинин отозвался с промедлением:

– Дрянъ, да всё ж христьяне. Отощали за зиму... Небось, свой же помещик, такой, как мы, служилец, на разбой-то их и погнал. Мол, добудьте себе хлеба, а мне денег.

– Так-то оно так...

– Да и какая в том честь, – перебил его Хворостинин, – простое мужичьё пластать?

Сзади слышался скрип снега под сапожными подошвами и тяжелое дыхание. Кудеяр обернулся.

– Пождите! Пождите малость!

Их догонял вожак, зажимавший одной рукой рану на другой. Запыхался.

Кудеяр остановился и развернул коня ему навстречу. Залом, едва отдышавшись, плаксивым голосом заканючил:

– Светлой боярин! Дай мне еще денег! Дай мне денег, дай! Кому я нужен, увечный? Сдохну, истинный крест!

Хворостинин ехал дальше, не оборачиваясь и, кажется, даже не прислушиваясь к жалобам вожака.

– Христом-Богом! Светлой боярин! Денег! Дай же мне... – Он потянулся к Кудеярову сапогу, желая, видно, обнять его для упрочения мольбы.

Кудеяр в ярости взметнул саблю над головой. Вожак вскинул руки, по-бабьи закрывая лицо, пригнулся, но бежать не посмел. Страх сковал его. И было в том, как застыл он, нечто столь жалкое и столь мерзкое, что Кудеяр не стал рубить. Харкнул пакостнику на спину да отвесил леща.

– Киселяй, тюря, м-мать!

Тронул за Хворостининым. Потер уши, очужевшие от мороза. Зябко поежился в седле: январская стынь лезла в каждую дырку на старой шубе.

Холода стояли по всей Руси, от Оки до моря Соловецкого.

Глава 2. Девичьи слезы

– Накось, смотри-ка! – И Дуняша сунула под нос Прасковье Мангупской руки свои, голые по локоть. – Вот они жилочки-то, все синие, ровно молоко водой разбавленное! Вот они запястьица-то, оба тонюсенькие, как есть щепочки из вороньего гнезда! Вот они пальчики-то, до чего же малюсенькие, точь-в-точь у маленькой девочки... Будто я по сию пору отроковица! Кто меня возьмет, Панечка? Кому такая жена нужна?

И хотела Дуняша пореветь всласть, но слезы рёвной силы еще не набрали, а потому течь в три ручья отказывались и только-только выглянули из очей с намеком, мол, еще малость, и замокрокосит.

Прасковья поняла: вот сей-то час и началась молвь, ради которой она у мужа отпросилась с Дунею Тишенковой повышивать – на один всего вечерочек. Муж не больно-то отзывчив: «Куды? Вышивать? А дома отчего тебе не вышивается? Ишь, зашастала по чужим хоромам, визгопряха, а у себя в дому хозяйство без пригляда, так ить?» – «У Дуняши стежок особенный, показать обещала», – лепетала ему в ответ Прасковья. «Врешь! Да и врешь-то нескладно, ты б врала-то мужу как у людей, с пониманием и рассуждением, а не наспех, как у тараруев водится». – «Во всем-то ты голова, надёжа мой, учи меня, учи, дуру безмысленну», – отвечала ему Прасковья, смиренно потупив очи. А тот, по обычаю, смягчился и токмо сказал напутственно: «Писано для семейного жития: жену учи всякому страху Божию и всякому вежеству, и промыслу, и рукоделью, и домашнему обиходу. Умела бы сама и печь, и варить, и всякую домашнюю порядню умела и всякое женское рукоделье знала б... Сама! А ты у меня как?» По всему видно, хотел поколотить ее малость, без гнева, для приличия и порядка, но раздумал и отпустил: чай, меньше нудить будет баба, когда от другой бабы сплетнями напитается.

Ноне сидит Прасковья, уши наперед себя выставив, – то началось, чего ради звана. Оно, конечно, руки-то сами собой шьют чего-то, руки ума не отвлекают, они к тому давно приучены. А ум свадебными горестями занят. Страсть как интересно: отчего у любезной подруги в делах свадебных такое невезение? Сколь советов собрала, а толку – бестолку! Ну, всего вернее, не просто так ее звала, какая-нито новостиска имеется.

Но пока, блюдя обыкновение, не любопытствовала Прасковья. Тут ведь надобно нрав выдержать: не всё вот так сразу рассказывается. А потому заговорила с Дуней якобы без понимания:

– А что руки? Руки и руки. Белы и не кривы. Чего ж еще?

Ох! Как бы не углядела Дуняша ее лукавства! Суха девка – всего четыре пуда в ней, курам на смех! Бог весть, отчего мясо к костям ее не липнет, а только всю жизнь была тоща, сколь бы ни ела, чем бы ни лакомилась.

– Утешаешь ты меня, а ведь меня сваха Патрикевна смотрела да и мощами назвала.

– Ну, Патрикевна! – отмахнулась Прасковья. – Нет ей веры. По женихам-то не добывчива.

– И сваха Лукерья Колуженка смотрела, а смотрев, носом криво крутила!

– И-и, Дунюшка, что про Лукерью говорить, она пьяней вина вечно ходит.

– А еще сваха Заноза смотрела и вздыхала, бедная, мол, девка, до чего слаба телесами...

– Заноза? – Тут Прасковья призадумалась. Заноза, почитай, лучшая на Москве сваха, слово ее – золото. Что против Занозы скажешь, когда она за версту чует, где сладится дело, а где никакая суета не поможет? Заноза – девкам молодым усладительница, женкам вдовым – утешительница, а девкам старым – надежда последняя. Мало иконы с нее не малюют. Раз уж Заноза так сказала, худо! Дурная слава пойти может... – А что ж, и Заноза не пророк святой, и она, бывалоча, неправду предрекала. Не молиться ж на нее.

Молвила, как видно, с колебанищем. Но это ж Заноза, не кто-то!

Молчит Дуняша, только рука ее с иглой над покровцем «Се агнец» туда-сюда снует. А на покровце сам Христос в виде овечки уже весь почти явлен, лишь ножка одна осталась недо-явленной... Пойдет покровец во храм вотчинный, что на Рязани, где отец Дуняши, Щербина Васильевич, селом Верейкою владеет.

– Выискался тут... – нежданно говорит она, – жених страховидный. Жenu прежнюю умо-рил, ныне вдовствует. К другой невесте приступался, да там некая безлепица вышла, стыдно и говорить. А ноне в нашем дому попастьись ищет.

«Ага, – смекнула Прасковья. – Вот оно!»

– Кто ж сей?

Дуняша вздохнула раз, другой и третий, последний вздох вышел у нее с особенной тяго-той и теснотой.

– Князь Дмитрий Михайлович Хворостинин.

Подумав, она добавила:

– Из ярославских из княжат, но...

И запнулась, видеv, как Прасковья в ужасе взметнула руку к лицу и ладонью запечатала себе уста.

Более о женихе сказывать язык не поворачивался, и хватило Дуняши всего-то на три словечка.

– Из... младшей... из...

Прасковья уж и хотела б иначе подойти к беседе, ради которой в подругину светелку звана, а на обратное не поворотишь. Четырнадцать лет выдана была Прасковья за князя Ман-гупского, рода древнего, русско-греческого, малость захудалого, но добрым именем отмечен-ного. Ныне сын ее пятое лето разменял. Кто как не она добрый совет даст? Вот, дала! Истинно, что тараруйка и визгопряха бестолковая.

– Что, тако и есть, страховиден?

– А ты, Дунечка, видала его? Али какой слух дошел?

Дуняша потупилась и вздохнула, точь-в-точь больная корова.

– Вижу, Дунечка, сорока на хвосте принесла... Ну... Есть увечье: лицо вкривь и вкось оружием располосовано... чело, щёки...

А более ничего из себя вытолкнуть не смогла. Дуняша закрыла глаза и горестно покачала головой.

– Знать, всяк сверчок знай свой шесток, Панечка. Стара я да тоща. На Покров двадцать пять лет исполнится – горбушка плесвенелая! Кому еще занадоблюсь? Токмо такому вот. Гово-рят, молоко рядом с ним враз киснет. А девки с одного погляду обмирают и наземь бухаются.

Прасковья не знала, чем утешить подругу: ведь до чего хорош князь Дмитрий Ивано-вич – во сне увидишь, дубьем не отмашешься! Что сказать, коли правда-то до ушей Дуниных долетела?

– Ну... раны его не бесчестные, не от дурной какой хворобы, за государя на боях полу-чены.

Только сказала и сей же час поняла: не то. Не вышло Дуне облегчения. Сидит подруга, не шелохнется, кручиной сражена. Очи долу, покровец в сторону отложен, лицо – темное, яко еловый лес.

– Панечка моя, подруженька... а может... может, пора мне к обителям приглядываться? Вот Рождественская Стародевичья обитель, сказывают, всем хороша: чиста, светла, черницы тамошние, почитай, все из древних родов московских...

Тут княгиня Мангупская решительно воткнула иглу в шитьё, глянула строго и молвила:

– Торопился лисовин в курятник, да попал в колодец.

Дуняша вздрогнула.

– Отчего о святой обители такову речь завела?

– А оттого. Не знаешь броду, не суйся в воду. Жизнь там, конечное дело, святая, не мне, грешной про то споры заводить. А только не тако ты еще стара, чтоб в безмужние черницы иттить. Надо б сначала... другого изведать. Чтоб знать, от чего отказ даешь.

– Чай, преподобная-то Евфросиния Полоцкая мужа не знала, и каков светоч из нее вышел? По всей Руси из конца в конец об ней...

– Так-то оно так, – вздохнула Прасковья. – Но и я не с панталыку тебя сбиваю, а вразумить хочу. Больно отец тебя берег, набаловал, излиху разборчив к женихам был и тебя к тому ж приучил. А что ты ноне знаешь? Про то, как монашенки живут, – понаслышке. Про то, как замужем живут, – опять же понаслышке. Во инокини стричься не страшишься. А замуж страшишься... Токмо из девчества да из замужества в обитель ход есть, тебе туда и ноне ворота открыты, и назавтрее открыты будут, и на старости лет еще не закроются. А вот обратным ходом уже не пойтить, всё, черничий наряд надела – так до смерти черница. Успеется!

Дуняша смотрела на Прасковью во все глаза. Отчего такая от нее строгость? Прямо не подруга, прямо не у одного попа закону Божию наставлялись, а словно бы учить ее, Евдокию Тишенкову, какому-нито ремеслу приставлена и за всякий промах отстегает хворостиною! Между прочим, пятью годами ее, Евдокии Тишенковой моложе! Правда, никакого добра в том нет, что столькими летами она Прасковьи старше... девкин год, он ведь как пуд железа, к ноге прикованный, – и тащить всё тяжелыше, и сбросить нельзя.

– Ты дело скажи, – с сухостию обратилась она к подруге. – От монашеской жизни отводишь меня, а о супружестве тож не слышу от тебя доброго слова. Мой-то, видишь, страхолуд, если и достанется мне от Бога. А про твоего, что ни молвь, то всё о суровости. Поколачивает, на подарки не щедр...

– Ну, будет про моего-то, Дуня! Мой, чай, не хуже других, а кого-то и лучшей будет! И подарки от него бывают... иногда.

Что за притча! Сколько раз перемывали они кости князю Федору Александровичу Мангупскому, и Прасковья потешалась над ним безлепо, а то и с жесточью. Но только от нее, лучшей подруги, про мужа про своего худое слово услышала, так сразу шелом надела, на коня взгромоздилась и с саблею в руке без жалости рассечь норовит! Воистину, что между женою и мужем творится, то один Бог понять может, а прочим лучше б не лезть, однояко добра не выйдет.

– Ладно же, ни слова больше о нем не скажу! Миримся, Панечка.

И Дуняша ласково погладила подругу по плечу, а та – ее. Обе умилились.

– А все же, Панечка, скажи мне, будто на исповеди: како идти замуж? За чужого, за непонятного, за незнаемого... а тут еще и за такового располосанного... Како весь век не пойми с кем вековать?

– Ну а что? – мягко, пухово заговорила вдруг Прасковья. – Доля бабья такая. Одно дело в девках: как лён цветом, меленькими голубенькими цветочками, красою свежей, тонкою, нежною. Повольно и хорошо, забот мало, всяк тебя ценит, точно золотой перстень с камением. Другое дело в бабах: кладут наш лён в жатку, а потом в мятку. Жмут, мнут, теснят, давят, никакой леготы не дают! И вот уж нет цветочков, зато тканьина выходит ровна да чиста. Да и жмут-то, бывает... сладостно...

Прасковья к своему ж удивлению зарделась. Чего румянцем-то заливаться, какой толк? Уж вроде вся та любовь давняя избылась, уж вроде и не она заглавной буквицей в душе, а дом, теплота его, запах приятный – от только что испеченного хлеба, от волосиков малбго, от горьких трав, на веревке сохнувших, от солений, в погреб поставленных, а вот на тебе, вместо сего благолепного устройства мужнина ласка в ум лезет, да какая еще ласка, срамно и подумать! Ой, и вот еще одна, той первой втрое соромнее!

Дуняша, уловив смятение подруги, полезла обниматься, и тут-то пришла к ней обильная слеза, яко дождик на Ильин день – ко богатым хлебам.

– Ой, боюсь я, Па-а-анечка! Чего хочу, сама не зна-а-а-ю... Всё перемеша-алось...

И княгиня Мангупская, государева большого дворянина почтенная супруга, сама того не желая, разревелась ей в лад. В самый раз ко душе пришлось – всласть поплакать.

Дуняша, рыдая врассыпчатую, крупно вздрагивая, свет-Панечку крепко сжимая в объятии, пробормотала наперснице в перси:

– Бают, хоть и страшон, а статен и к людям ласков... Может, и попривыкнется-а-а-а...

К последнему слову добавилось три хныка. Объятие же сделалось крепче, и почуялось в нем вопрошание.

И тут сказала себе Прасковья: «Ух ты! До чего же ты, подруга милая, засиделась...»

Глава 3. Голубиная сила

В сумерках на двор к Федору Тишенкову въехал его брат Кудеяр.

Над старым, привольно раскинувшимся по-над речкой селом Рамонье стояли дымь. Хозяйки на ночь протапливали избы. Зима никак не поворачивала сани свои вдаль, от людей да за край мира. Весенние ветра приходили ненадолго, дышали сыростью, но на смену им вновь являлся мороз, ковал наст да пугал птиц: те только-только пробовали завести свои хлопотливые песни, ан нет, холод замыкал им уста.

Над воротами в усадьбу появилась у Федора затейливая резьба. Вон медведь на задние лапы встал, вон сокола крылья распростерли, вон лисовин крадется. Брат любил при всяком случае изукрасить дом свой и добро в нем рукодельными хитростями. Сундук у него – так с росписью, книга – так с заставками царственного греческого письма, даже упряжь конская – так с узорными бляхами: жуки серебряные, пряжки золоченые, к ним паперсти бархатные да ошеек сафьянный. С месяц назад видел Кудеяр у младшего седло крымское сафьянное, рудо-желтое, травами расшито, с тебеньками, с войлоками мягкими, со всей снастью... княжеская вещь! Надо выкупить у братца. А не даст, так забрать, отобрать, увезть, не по нему эдакое диво!

Одному дворовому бросил Кудеяр поводья – тот обиходит коня. Другому сунул пару утиц, попавших ему под стрелы у самой дороги, и велел:

– Зови хозяина, тетеря!

Тот с поклоном забормотал:

– Чичас... чичас...

Закосолапил в хоромину, под нос себе шепча неразбери-пойми какую пакость, вроде: «Опять чертушку нелегкая принесла»...

Кудеяр отвесил ему пинка для резвости.

Подскочил к нему пес, оббрехал. Пар облачками вырывался из собачьей пасти.

– Ну, разинулся! Раньше лаять надо было, когда я только близ подъезжал! А ты что? Лежабок! Голос подать лень! Так и татя проворонишь!

Все тут, у брата, едва шевелятся!

Пес не унимался, только разозлился пуще и норовил уже цапнуть за ногу. Тогда Кудеяр оскалил зубы и сам зарычал на дерзкую животину. Пес кинулся в сторону, тявкнул визгливо еще раз-другой для порядку, да и полез куда-то в щель под клеть. Укрылся, только глаза и видно.

– Ну, братка, кто кого перегавкал – ты скотину или скотина тебя?

Федор стоял на крыльце, усмехаясь.

Шуба на нем, бархатом червчатый крытая, да на соболе, лисья шапка... Богато живет!

Домовит Федор. Вроде щенок еще, бороду едва отпускать начал, хотя уж двадцать шестая весна в окошко к нему заглянула. Вроде и люди его без грозы живут, медленные, вихлявые, будто сонные... А строение стоит в исправности, скотина родится, в доме водится серебрецо, это сразу видно.

У самого Кудеяра вотчинное село, от отца полученное, было побогаче Рамонья. Да дом погнил, во дворе пророс лопух в пояс мужику, стадце было, так от стадца три кобылы остались. Всё там, в вотчине его, вызывало у Кудеяра досаду. Всё не вовремя. Всё отрывало его от настоящей жизни. Что за хлопоты пустые – скотина, пашня? Скука, зима пришла, а за ней весна пришла, всюду луга да болота, на болотах ивы по пояс в воде, кулики да жабы. Ску-ука... Хлеб растет, да в хлебе ль счастье? Не жизнь ему там! Или бабу завести, пусть пригляд за хозяйством держит? А и с бабой скука. Одной бабой разве накушаешься? Вот на Москве – да, жизнь! Кабаки, бои кулачные, на луках состязание, двор государев... А еще того пуще жизнь на Украине, с татарвой саблями перемахиваться. Или на литву за барашником ходить, у литвы

барашнишко узорное, само в руки просится. Вот – жизнь! Сильный дома не хранит, сильному везде дом, потому что везде он свое возьмет. Сильному – в ветре дом, в замахе сабельном, в буйной скачке. Сильный чести и славы добывает, иного не бережет. А хлеба да избы – это всё мужичье, навозное...

Омужичился брат.

– Знамо, по обычаю богатырскому одолел я зверище-страшилище, бесовское переве-
сище! – отвечал ему Кудеяр с ухмылкой. – А ты кто такова, красна девица? Пойдешь ли за
меня замуж?

Брат засмутился, а потом рассердился. Был он тонок в кости, миловиден и нежнокож,
сызмальства дразнили его, приучая за каждое кривое слово, за каждый косой взгляд биться
смертным боем, чтобы понял обидчик: с этой «девкой» лучше не связываться. Вспомнил же
Кудеярка, ащеул, басалай! Вольно ему зубоскалить...

– Какая девица за того пойдет, у кого хвост на заднице!

– Какой хвост? Не возьму в толк... – завертелся Кудеяр, пытаясь углядеть, что там у него
на гузне увидел брат.

– Хвост какой? – торжествуя, переспросил его Федор. – А волчий!

Кудеяр застыл, чуя, что его переёрили, и вдруг издал жалостливый вой, долгий, громкий,
с коленцами и переливами.

– У-у-у-у-у!

Село Рамонье, и без того тихое по вечерней поре, вчистую онемело. Где скотина помыки-
вала, там замолкло, где бабы у колодца переговаривались, там тишина, и даже скрип от воротка
с ведром, и тот прекратился.

– Страсть Господня... – только и сказал Федор.

Сей же миг всю россыпь изб из конца в конец залило собачьим лаем. Кобели ярились,
являя хозяевам службу, а сами знали: не выдадут их люди лютому волчине, с людьми-то
дружба, встанут заодно. Робость охолодила собачьи души. И только на околице, на дальнем
дворе, хрипел да рвался с цепи пес Задор, отважный волкодав. Этому драку подавай. Этот за
хозяина не спрячется.

– О, – услышал его Кудеяр, – хоть один молодец выискался. Сейчас пойду, сцеплюсь с
ним!

И тут из Заречья прозвучал ответный вой, протяжный, с затейливыми озорнинами.

Кудеяр как стоял посреди двора, так и рухнул наземь от хохота.

– Зовет! А? Ты погляди! Зовет! – говорил он, катаясь в снегу. – Может, в гости к лесной
родне-то наведаться? С коблями скучно, найду себе волчицу ласкову да зазнакомлюсь!

Наконец встал, отряхнулся, обнялся с братом.

– Рад тебя видеть, Гюргя.

Только Федор так называл его, обычаем старинного времени, когда не различали еще
имен Георгий и Юрий, даруя древним богатырям дерзкое звучное имя Гюргий. Старшему
брату нравилось. Все прочие именовали его по прозвищу – Кудеяром, товарищи по кулачным
проделкам – Кудеяркой, мать – Кудеярушкой, девки – Ярым. А младшой звал так, как надо.

– И я тебя рад видеть, разтетёха.

– Мыленка натоплена, не хочешь ли?

– И то...

Федор засутился, веля ставить на стол, вынуть из подпола медку хмельного с бражкой и
немедля отыскать банного умельца Баламошку, коий веничком да по спинке соловьиные песни
выводит...

Разомлевший, в свежих исподниках, тянул Кудеяр из расписной глиняной посуды кис-
лую брагу. Хорошее дело – перемежать бражку с медком: и не раскиснешь, и потроха от сла-

дости не слипнутся. Перед ним стояла бадья с хрусткими белыми груздями, большой пирог с ряпусой – мелкой рыбкой, запеченной до хруста же прямо с косточками, рыбничек с линьками, да плошечка с хренком в сметане, да капуста квашеная, да морёный чесночок. Расстарался Федька! Мяса, правда, ныне от него не допросишься – день постный. Молитвенничек!

– Видел я, седло тебе сафьянное по душе пришлось? Как хорошо, брат! Возьми его себе.

– Ты чего, Федя? Я ж еще и попросить-то его не успел! Да может, и вовсе не просил бы...

К чему мне седло твое? Красна, конечное дело, вещь, да на что мне... – Кудеяр без особенной уверенности почесал в затылке.

Выходило к лучшему: страсть как хотелось ему седлецо, ах, седлецо, девкам на загляденьице! А тут дело ладилось к тому, что без копейки трат перейдет к нему диво крымское. Но пусть Федька поупрашивает, а то, чай, одарит и загордится.

– Дарю тебе, Гюргя. Не чинись, я тебя знаю. Когда брал, на узор загляделся: тонко травы наведены, переплетаются да расходятся... – Федор сделал в воздухе движение рукой, словно бы чертя, куда какая травинка идет. – А потом поразмыслил: отучаться мне надо, брат, покупать вещи ради погляда, а не ради пользы, какая в них заключается. Так что бери, и кончен разговор! Мне наука: от соблазна избавлюсь.

Кудеяр заулыбался:

– Ну, угодил, угодил! Чего говорить, убоготворил! Должен я тебе, Федька!

– Чего уж должен, глупости.

– Должен, должен, не спорь!

Зная слабость братнюю, Федор распорядился нарядить на стол привозной духовитой селедки. Отведав ее, Кудеяр закричал от удовольствия.

– Федька! Поверишь, нет, на Москве потчевал селедочкой одного фряга, розмысла царёва по литейным да пушечным делам, особо духмяную сказал ему дать, самое что ни на есть... ы! – Кудеяр потряс перед носом брата щепотью. – А он что? А? Скривился, мол, вонюче ему, утроба не принимает! Одно слово – нерусь, упырь невнятный, тьфу. Нет, ты поверишь, нет?!

Федор отмахнулся:

– Ну не в обычае у фрягов... Вот свей или немец – да, этим бы понравилось. Правда, смотря откуда еще тот немец приехал...

– Да что ты заладил: то, сё, оттуда, отсюда! Дрянь людишки, и весь сказ! И молвь у них у всех – дрянь, по-нашему разве греки умеют, да у греков фетюк не фетюке, некому в рыло дать, от одного злого взора шарахаются.

Тут Кудеяр шлепнул себя по лбу и радостно воскликнул:

– Нет, вру! Всё вру! А ты прав. Истинно говорю, хоть ты и кисель, а всё ж прав. Есть в немцах толк, и во фрягах тож. На саблях иные как рубятся! Это ж бойцы большие, истые! Меня немец рубиться учил, ты знаешь. Как учил – всего палками избил, меня, Тишенкова! А знатно выучил. И фряг тот, давешний, коего от селедки крючило, сечься горазд. Так, Федя, вели саблю мне принести. И пускай твою принесут. Прямо сейчас, немедленно, а то забуду. Пойдем на двор, я тебе за седло отплачу, такой ударец хитрой покажу, враз человека наземь кладет! От фряга перенял. Пойдем, сидень!

Федор поморщился:

– Да не хочу я... Чего ты? Хорошо же сидим. Вот я лучше книжечку тебе новую покажу... хронограф русский, нового письма... там про войну с литвой изрядно написано...

Но Кудеяр чуть не тумачами вытолкал брата из-за стола. Схватил саблю и вышел на двор прямо в исподнем. Повариха попалась ему по дороге, так он треснул ее саблей плашмя по заднице. А потом шикнул, чтоб унялась и не кудахтала. Раскудахталась, наседка!

– Федя... стоишь не так... нет, ноги не так. Да, теперь ладно встал. Гляди, не торопясь показываю... первый тычок в чело идет... так... он тебе отмахивает, а ты ему второй тычок... вот сюда... в поддых... ясно? Повторяй. Да не проваливайся вперед... вот баляба! Не так. Еще

раз... Во-от... На третий раз нет тычка, ты в плечо рубишь... Нет. Нет! Рука у тебя дубовая? Или сосновая? Кистью почему не так вертишь? Еще раз!

Добившись того, что брат с грехом пополам повторил весь урок от начала до конца, Кудеяр нахмурился. Не нравилось ему... не пойми какая кривинка... Не то делал Федор. Нет, с первого взгляда, всё верно. Но не дорубится Федька на третьем ударе до своего противника. В чем дело? Вяло бьет, вяло вертится! Неспешно, как на крестном ходу, а не в драке.

– Больно мяконький ты, Федя. Ровно баба. Жесточи в тебе нет, а без жесточи – какой ты боец? Тьфу, размазня, а не боец. Лихости бы тебе каплю, Федя.

– Лихость, она от слова «лихо», брат.

– А иной раз и щепоть лиха не помешает. На бою мы не девку щупаем, мы котлы чужие с плеч сносим, злых рубщиков рубим. А ты что? Квашня квашней. Пропадешь! Что морщишься? Пропадешь ни за хрен в хорошей-то драке, я тебе говорю. Тебе бы сердце б надо окаменять, когда вышел с кем-нито сечься. Не навсегда, а так, на время, потом отмякнешь.

– Ты же братец мне, как я сердце окаменю?

Кудеяр метко харкнул, сбив тонкую сосульку с крыши. Прищурился.

– А хоть бы и брат... в сече братовьев нет. Это уж кто потом жив останется, те глядят, кто кому брат. А покуда рубимся...

Зло ощерившись, он пошел на Федора, поигрывая саблей легко, дерзко, словно мальчишка – гибким ясеневым побегом. Не остановишь, так махнет раз, другой, и вот уже до чела твоего добрался!

– Зло на тебя берет, никчемный ты, ровно мешок с назьмом. Не наш, не Тишенков! Очищу род от хилой крови, – холодно поизносил Кудеяр, придвигаясь к Федору.

Смотрел по-волчьи, точно выбирал, куда впиться зубами.

Федор бросил саблю.

– Ты что, дурень?! Рожу раскромсаю!

– Не могу я, Гюргя, с тобой рубиться, когда ты таков. Злобу в себе напрасно ты будишь. Я страстей не ишу и к чужим страстям не переимчив. А ты... как бы ты образ Божий в себе не исковеркал. – Федор говорил твердо и с прохладцею. – Не люблю таких игрищ, не балуйся!

– Вот тюря... – изумленно произнес Кудеяр, ловко вкладывая саблю в ножны. – Ничем тебя, бездельника, не раззадоришь.

От притворной его злости и следа не осталось.

Вернулись трапезничать. Схрюпав горсть капусты, Кудеяр наконец приступил к делу, из-за которого приехал:

– Вот что, Федя... пора дурёху нашу замуж выдавать. Двадесять и четыре полных годка ей, засиделась в девках-то. Перестарочек...

Противу ожиданий тихоня оживился, глаза сверкают. Ну как же, домостроителен до тошноты, родолюбив... Отчего только сам супругу не заведет?

– Евдокеюшку?

– Дуньку, ясно. А кого еще? Будто вторая сестра имеется.

Федор весьма раздумчивым движением огладил тощую бородку.

– Есть ли жених достойный? Ко сговору ко свадебному подступались ле?

– В том-то и дело! Боевой товарищ мой, вместе татаровой бивали! Истинный храбрец! Большой воевода Дмитрий Иваныч Хворостинин!

И поглядел Кудеяр на брата победно. Вот, дескать, какого жениха я Дуняше добыл!

А Федор хмыкнул и принялся рассуждать о неясном и ненужном. Оно, конечно, говорил брат, Хворостинины Рюрикова рода, из младшей ветви ярославских князей. Нам, Тишенковым, они не в версту, честию выше. Вроде выходит приобретение. Батюшка товарища твоего на старости лет чин окольного выслужил, мир праху его. Да и сам он от государя тем же чином ныне пожалован... А с другой стороны поглядеть, так не столь уж большой человек

Димитрий свет Иваныч. В воеводах он всё больше во вторых да в третьих. Никаких людей великих на государевом дворе за ним и за родней его не видно. Хворостинины вообще люди не московские. Мы же, Тишенковы, хотя в думе не сиживали, но семейство истинно московское, с Годуновыми и Сабуровыми в родстве, а оне у государя ныне в большой чести...

– Ты что городишь, выползень сущеглупый? – прервал его Кудеяр. – Мы с ним о прошлом годе крымцев у Зарайска порубили! Друг это мой набольший, куда он, туда и я!

Федор и бровью не повел. Четырьмя годами моложе, а вроде как младшего поучает!

Вот смотри-ка, – прищуривается, – мы земелькой не обижены. А сколько четвертей за твоим за князем Дмитрием пашенной земли поместной да вотчинной? Сдается, небогаты Хворостинины...

Вот тебе и младенец! Вот тебе и девка! Как до прибытков семейных дело дойдет, так прямо клещ, не человек. Не собьешь.

– Помолчи-ка, Федя. Тут... такое дело. Не Димитрий свет Иваныч, так поставили бы батю нашего на правёж да и забили бы до смерти. А то бы и прямо в тюрьму вкинули на сором. Или меня. Или нас обоих...

Младшой только глаза выпучил – в толк не возьмет, какой еще сором, откуда бы? И тут Кудеяр разозлился и заорал:

– Да всё нога его! Из-за ноги отцовой страдаем! Что ты смотришь, бестолочь? Говорю же, не виноват я, нога распротреклтая виновата! Но-га!

– Ты с глузду съехал али бражки перебрал?

– Да бражка твоя! Из меня жбан такой бражки здравого рассуждения не выбьет! В общем, нога...

Брат молчал.

Кудеяр вздохнул с отвращением. Почему у подлеца всегда полно серебреца, а у добра молодца серебреца не водится? Опять вздохнул. Да что за волянка прямо!

И, набравшись покоя, заговорил дельно, без сердца:

– Поминал я, как мы о прошлом годе татар-то под Зарайском... изрядно положили... Ну... Послал меня Хворостинин на Москву, ко великому государю с грамоткой. А что в грамотке? Разгни и чти: маяя в 21 день сошлись с крымскими людьми...

– ...в ночи, и крымских людей побили... – глядя куда-то в сторону продолжил Федор.

– ...и языки многие поимали... – добавил было Кудеяр, но сбилсся.

– ...и полону много отполонили, – закончил за него брат.

– Что, уже рассказывал?

– По четвертому, почитай, разу-то...

– Ну не дунди как старая старуха! Может, и рассказывал, но дело-то славное, отчего бы лишний разок по нём не проехаться? Ладно. Доскакал я с грамоткой до Москвы да самому государю доложил, и за то он мне...

– ...шапку соболью пожаловал, кою шапку я продул, с неведомыми шпынями в зернь играючи... – тихо завершил его повествование Федор.

– Молчи уже, не рви сердце, дурафей! Шапку я добрым людям подарил, не иначе. Допряма не помню. Но люди точно были добрые. И хватит об том! А по грамотке по той назначил великий государь ехать в полки с наградными деньгами отцу нашему, Щербине Васильевичу. Корабленики там золотые да португальские... целая казна. Воеводам и головам воинским, за славное их дело. Батя стонет: службу справлять надо, а сил нет: нога разболелася, некоторого сладу с ногой проклятой! Езжай, говорит, вместо меня. А я – ну как батю не почтить! Поехал с казною.

– Пропил?

Кудеяр досадливо потряс головой. Ну что еще Федя скажет? Бабы у него ухватки, да и вопросы тоже бабы. Не токмо братец омужичел, но еще и обабел. Что ему? Хоть бы и пропил. Если надо выпить, значит, выпить – надо!

Да ему рази ж объяснишь?

– Нет, Федя, не пропил.

Брат опять глянул куда-то в оконце, закрытое мутненькой слюдой, облепленной вечерней тьмою снаружи, и обреченно сказал:

– Значит, на бабу...

– Да отчего же на бабу-то?! Почему непременно – на бабу?! – взъярился Кудеяр.

– Ну не пропил же, сам говоришь. Так? Стало быть, на бабу.

– Да хоть бы и на бабу! Иногда и баба – вещь полезная... В общем, да, была в Коломне одна... такая... вдова купеческая... но это ж не баба тебе какая-нибудь, это ж ведьма! Истинно говорю – ведьма! Чарами взяла меня. Как на жеребца узду надела! И самая так-кая... ну вроде и что там смотреть... а поглядишь – эвона! Спелая как... ну... как...

– День сегодня постный, Гюргя. Не суй мне своих бесов да во чисты уши.

– Вечно у тебя постный день! Прямо дякон с погорелого прихода... Я гляди-тка... четыре корабленика ей да и оставил. На шею ей. Пускай носит. Шея у ей совершенно особенная. Прямо как у...

– Всё, будет тебе, Гюргя!

И старший брат, голову склонив да нос повесив, тихо-мирно, не петушась нимало, рассказал ему, как добрался до Зарайска, до самого воеводы Дмитрия Ивановича и честно признался, до чего же хороша коломенская вдова, просто лебедь белая на облаке белом... всё! всё! больше про то ни словечка! А тот его пожаловал словом многоценным, почитай, из скатного земчуга. Мол, я свою денежку подожду, волчина серый, могу и долгонько подождать, аж до Хавроньина заговенья. Мол, честь от государя мне важнее. Да и есть уже одна такая, на шапку пришита, насчет второй покуда в толк не возьму: куда деть? Но вот еще трое хоть и товарищи мне, а столько терпеть не станут... Поговорил Хворостинин и с одним, и с другим, и с третьим... То ли умаслил чем-либо, либо по-христиански милосердья попросил. Не позорьте, мол, боец храбрый да род у него добрый, погодите чуть, добудет он вам золотые аглинские взамен пробабленных. Те согласились, но...

– Когда срок подходит? – строго, как батя когда-то, спросил Федор.

– Да срок-то, почитай, весь вышел... – уныло отвечал ему брат.

Принялся Федор усы свои соломенные, веревки не толще, со степенством разглаживать. Уже и на брата не смотрит, мысли каменные ворочает молчком, сам по себе. Что там разглаживать-то ему? Пушок детячий? Деньги нужны! Денег дай, брат! Серебришка.

– Первое тебе скажу: должно, дельный человек твой Хворостинин, знает толк в чести и в сраме. Семейству нашему помог, яко родной. Ежели все так, как ты говоришь, считай, сговорил у меня сестрицу. Отец как?

– Не против... Когда так-то всё... Хотя и серчал по первости. Да и... давно бы ей бы... Совесть надо ж иметь... – Кудеяр махнул рукой и посмотрел на брата тяжело, оловянно.

Федор покивал. Оба они знали: обуяла их отца, Щербину Васильевича, на старости лет дурная любовь. Как сделался вдовцом, дай, Господи, матушке царствие небесное, так привязал к себе дочку вервием суровым. Ни за что не отпускает. Уже и свахи являлись по разу, по второму да по третьему, уже и от великих старых домов к нему посылаю, а он всё девку при себе держит. Балует сверх меры: в парче Дунька ходит, пальцы в перстеньках, ни в чем ей отказа нет! Как же, поскребышек отцов с матерью, на уклоне лет неожиданно появившееся дитя – белое, тощее, хилое, любименькое. Вся в синеньких жилочках, чуть весна, чуть осень – хворобы одолевают, на что глядеть-то, мяса на костях неросло ни на щипок! А отец без нее света белого не видит! Дурует отец. Должна быть баба при муже, а муж с бабою, иначе мир

не стоит! Выйдут боком сестрице все отцовы подарки, коли без супруга останется. Куда ей с ними, с перстеньками, да одной? Разве в монастырь. А там парчу не поносишь... Ох, дурует отец. А тут вроде со всех сторон дело выстроилось, выправилось.

– Второе тебе скажу, Гюргя... денег у меня нет. Вот так вынуть сей же час и дать нечего. Худо.

– Да ты... – задохнулся Кудеяр, – ты же брат мне родной... Сдаешь меня на бесчестье?

– Молчи, Гюргя. Никогда ты не понимал, откуда достаток берется и что он не как крапива во дворе из земли растет. Помолчи лучше! Бесчестья ты на род наш исхлопотал, полной пригоршней!

– Да я... нога же... Федя... Как ты... на меня... Не можешь ты так на меня говорить...

– Помолчи же, Бога ради! Послушай. У тебя денег нет, и это мне понятно: какая избенка в вотчинке не развалилась, та в закладе, верно ле?

Кудеяр угрюмо кивнул.

– У отца нет – свадебку ладить еще у меня попросит, верно ле? Поисхарчимся...

Кудеяр развел руками – свадебка дело семейное, како без того? Всё по сусекам выскребут.

– А у меня хлеба не вдоволь. Старый сошёл, чуть не по полу сметаем, продать нечего. Скотину продавать – дело долгое, да и проку не будет: по весне она ненагуляная, уйдет за полцены. Седло твоё продать, да из одежды... да из вещичек... долго! А протянем с торгом, лиха дождемся... Отчего так поздно приехал?

Кудеяр не ответил. Царапал взглядом половицы. О чем тут говорить? Откуда охота приспеет – о такой скверне разговоры разговаривать... Хотел сам управиться, а как не вышло, так и приехал. Что непонятного?

– Три золотых... много, Гюргя, много! Одно только вижу: деревеньку продать Семеновскую, да починок при ней, да пустошь с росчистью и с новой присадкою... Ай, не вовремя! Два годика или три, так давала бы та росчисть изрядный прибыток. Но и тут время понадобится, покуда дельного покупателя найдем...

Кудеяр с закипающим раздражением чувствовал исходящую от брата странную силу. Неведомо как чувствовал – вроде пса или иной бессловесной скотины, которой внятна сила хозяина. Слабый, удали вчистую лишенный Федор был в чем-то непонятном силен. И старшой не дерзал даже задираться к этой неясной мощи, хотя грудь его немо наливалась рыком.

– А живого серебра нет. Храм новый строю, каменный... Человека особого нанял, каменных дел нарочитого умельца от Каргопольской волости... Показал бы тебе его, но...

Тут только Кудеяр сорвался:

– К чему новую церкву строишь? Зачем такой расход? Старая крепка была, дедом нашим поставлена, дак ей сносу не было, точно одежде из коровьей кожи. А где гниль завелась – ну, подновить, и ладно. Зачем?! Останови!

Федор глянул ему в самые очи и с алмазной твердостью отвечал:

– Нет, брат, не остановлю.

И ясно было: скорее даст себя зарезать, чем уступит. Даже ради него. Даже ради чести родовой. Опоповился, тихоня!

– Ты еще вырядись по-пономарски да в колокола потрезвонь с колокольни-то!

– А захочется, так и потрезвоню. На моей земле храм, отчего не потрезвонить?

И вроде улыбается, а говорит без малейшей слабинки, нерушимо.

– Раз так, что делать мне присоветуешь? – сдался Кудеяр.

– Ничего. Не транжирь боле, сам видишь – живем опасно, всюду расход, время шаткое, лучше б жить при запасе. А о прочем я сам позабочусь. Покоихмест покупателя сыщу, возьму в долг под заклад, слава Богу, есть, что дать. Потом расплачусь да заклад заберу.

– Я...

– Золото сам куплю вскорости и сам же отвезу Хворостинину. Тут и любезное знакомство мы с ним составим.

– А ко мне, брату своему, ты веры не имеешь? Как к зверю лесному?

– Охолони.

Опять улыбается Федька. И так, собака шелудивая, улыбается, что без подсказу ясно: и тут его с места не сдвинуть, в руки денежек не взять. Да и ладно, хоть долг отдаст – и то хлеб. Баба с возу, кобыле легче.

Хлопнул Кудеяр младшего по плечу – раз, другой – мало с лавки на пол не сбил.

– Выпьем медку, Федька! За здоровье отцовою ноги! А? Выпьем! Какой брат у меня! Медь наяренная, а не брат! Ангел! Нет... не толкайся, дурня, я скажу: ангел ты, истинно ангел, а не хрен собачий! Ни у кого такого брата нет!

И они выпили. И еще маненечко. И еще добавил один уже Кудеяр. И еще чуть-чуть. И еще так... самую малость. И... непонятно как лиходать содеялась.

А потом Кудеяр, едва разлепив совины очи, увидел ангела Господня. Ангел, склонясь над ним, прикоснулся к плечу. Легонько потряс. Глянули на Кудеяра глаза отнюдь не людские, а иконные: очень большие, светло-светло серые, словно отражение сентябрьского неба в полу-денной речной воде, когда за облаками стоит солнце, пронизывая их твердь своим ослабевшим сиянием...

– Господи Иисусе... Ты кто? Михаил? Или Гавриил?

Кудеяр оттянулся было, желая узнать, есть ли у ангела крылья и есть ли сисыки. Речные глаза сей же миг исчезли, растворясь в темени. Вместо них появились очи простые, человеческие... Кто-то... не пойми кто – холоп ловкой? али мужик дворовой? – подхватил слева. А справа подставилась под плечо баба... Крепкая! Хваткая... Тащат. Куды? К чему? Он ведь и не пьян вовсе. Так, по малости.

Потом исчез мужик. А баба осталась. Глаза раскосые, хитрые, знать, от татаровей к ей в жилы кровь прилита... Нет там ни небесного, ни ангельского. Два бесеночка играют в них, приплясывают стойно пламени светца, на гусях позванивают, на сопелях дудят.

Свечец погас. Над ложем смешались два запаха: дымка и бабий.

Поутру Федор встал рано, выстоял утреннее правило у образов, умылся и кликнул дворовую девку сходить к брату, позвать его. Та только услышала «сходи к Кудеяру», так вспыхнула, ровно маков цвет.

«Когда успел? – взяла Федора досада. – Поздно же легли, весь вечер проболтали...»

Брат явился сонный, сердитый, всё тер очи перстами да оглаживал лицо ладонями.

– Что тебе, Федя? Дело какое? Трапезовать вроде рано, едва света прибыло...

– Пойдем, чего покажу.

– А?

– Пойдем, посмотришь.

Он вывел Кудеяра на околицу села, а потом через мосточек, по бережку замерзшего озера – к ближайшему лесу. Снег похрустывал под сапогами, словно грузди на зубах. В небе и на земле обреталась великая тихость, веточка не шелохнется.

Федор подвел брата к удобной лежанке, сделанной в низине, под кривою ольхой: мужики рядом выложили тесины, а поверх них набросали старой соломы. Приложил палец к губам – тихонечко, мол, нишкни, и кивком показал – ложись.

– Чего тут еще?

– А вон, смотри!

На малой поляне посреди леса токовали тетерева. Тетерки сидели на деревьях, наблюдая за тем, как их краснобровые женихи колобродят по снегу, узоря чисто выбеленное полотно

лапами, как подпрыгивают они, распушив хвосты серпами, как бьются, задорно наскикая друг на друга.

Издалека доносилось горделивое бормотание косачей: «Чурши-чурши, тур-лур-лур, тур-лур-лур. Чурши-чурши, тур-лур-лур, тур-лур-лур».

Одна тетерка, соблазнясь, слетела на токовище. Сейчас же подскочил к ней красавец-молодчик, принялся охаживать, заходя то справа, то слева. Тетерка вертела головой, приглядываясь к избраннику. То она делала шажок-другой в сторону, дразнясь, то покорно застыла, являя ему благосклонность.

– Ну, ток. Жаль, лука со стрелами с собой не взяли. А на что смотреть-то мне, Федя?

– Да красиво-то как, красиво! Приятно же полюбоваться. Вот создал же Бог таких ладных птичек, и всё у них как у людей...

Брат зло сплюнул.

– О чем думаешь! Потехи какие-то детские. Лучше б ты бабу себе нашел: не отрок уже, а и мысли о том нет, всё бобылюешь.

Встал Кудеяр и решительным шагом пошел к дому, едва не спугнув тетеревей. Нашел ту самую, румяную, пышненькую, на ленивую кошку похожую, и до завтрака сблудил с нею на скорую руку. И только когда она уходила, сообразил, что ночью, кажется, была другая. Точно! Та повыше была, да и злее...

А Федор еще долго лежал на своем месте и любовался птичьими играми. «Дурачина! Тут красота такая под самым боком, ну чудо же, чудо, а он?»

Расстались по-доброму.

Сказал Кудеяр Федору, мол, ждет его на Москве, явит ему друга-князюшку пред светлы очи. Обнялись перед дорогою. Вскочил Кудеяр в седло, смотрел на Федора долго и сказал, в глаза не глядя:

– Ты душа голубиная, Федор. Одного тебя люблю, одному тебе верю. Ты... такой... вроде и удали в тебе нет, а все же есть какая-то сила... только не пойму какая... голубиная сила. Береги себя, братка, дурной мой голубь, бес тебя дерит...

Федор перекрестил его.

– Ангела в дорогу, Гюргя. Хороший ты человек.

Глава 4. Хозяева Руси

Князь Михайле Ивановичу Воротынскому достались очень крепкие ноги.

Совсем недавно, на Сретение Господне, исполнилось ему пятьдесят пять лет, а ноги служили ему яко молодому. Никогда не было в них ни ломоты, ни отёка, ни усталости.

Этими ножками без малого два десятилетия назад всходил он на стену Казани, а сверху сыпались злые татарские стрелы, лился кипяток, летел свинец пищальный. Ни разу не утомлялись они на долгих богослужениях по двенадесатым праздникам. Девять лет назад не отказали они хозяину своему в службе, когда, по дороге в ссылку, к далекому Белоозеру, телега потеряла колесо, и выпало ему шагать тридцать верст по осенним хлябям. Легко им было трудиться, когда господина их простили, вернули на Москву и во дворе собственных его хором какой-то безвестный подьячий зачитал государев указ о пожаловании Воротынскому боярского чина.

В ту пору надежда подавала ему ковш с медом, а потом кричала хмельные песни в самые уши.

Нынче ногам его очень не хотелось держать грузное тело. К чему напрасно работать им? К чему напрягать мышцы? Какой в том смысл?

Опричный дьяк, имя коего Бог ведает, монотонным голосом зачитывал боярский приговор о станичной и сторожевой службе – любимое детище Воротынского, трудами, кровью и страданиями выращенное:

«...А стояти сторожам на сторожах, с коней не сседаая, переменяясь, и ездить по урочищам, направо и налево по два человека по наказам, каковы им наказы дадут воеводы. А станов им не делать, а огни класть не в одном месте; коли кашу сварить, и тогда огня в одном месте не класть дважды; а в коем месте кто полдничал, и в том месте не ночевать, а где кто ночевал, и в том месте не полднеть...»

К чему всё сие? К чему вызвали его сюда, в Александровскую слободу из Москвы? Знает государь, что он собирал людей тертых, с пограничной украиной по многу раз переведавшихся, воинских и станичных голов, детей боярских и рядовых станичников, на боях с татарами да ногайцами поседевших. Чертежи смотрели, доклады слушали о путивльских, и о тульских, и о рязанских, и о мещерских станицах, и о всех украинских, и о дальних, и о ближних, и о сторожах, и из которого города к которому урочищу станичникам удобнее ездить, чтоб чужие воинские люди на государевы украины войною безвестно не приходили, чтобы татар и ногайцев устеречь. Ничего не упустили! Как упустишь, когда за всякую ошибку в этом деле жизнями плачено! Такого не забыть, не перепутать...

Такоже знает государь, что земская боярская дума, Воротынского слушав, приговорила постановления его утвердить. Так к чему было дергать его сюда и ставить еще и перед опричной думой? Ведь мог же Иван Васильевич без проволоочки указом своим дать силу боярскому приговору! Сам, один, без прихвостней опричных! Нет, потащил его сюда. Зачем? Время дорого, а пока грамотки по украинным городам разошлют, татарин уж в полях появится. Небось ждать не станет! Как видно, захотел государь силу свою показать над древними родами... Над его, Воротынского, родом. Служильцы вы, мол, и более никто! Холопы, проще говоря.

Мало что из Москвы напрасно вытянул, а еще стоять заставил. Как будто он, князь Воротынский, пред опричною голью за неведомые грехи ответ держит!

И сердце уже не болит, не тревожится. Привыкло сердце. А вот ногам все еще обидно.

Безымянный дьяк продолжал чтение:

«...А которые сторожи, не дождавсь себе отмены, со сторожи съедут, а в те поры государевым украинам от чужих воинских людей учинится война, и тем сторожам от государя, царя и великого князя быть казненным смертию. А которых станичников или сторожей воеводы или воинские головы кого пошлют дозировать на урочищах и на сторожах, а они встанут небережно и

неусторожливо или до урочищ не доедут, а хотя бы приходу чужих воинских людей и не будет, и тех станичников и сторожѣй за то бить кнутьем...»

Перед кем стоймя поставлен?! Перед царем готов он постоять, сан царский соблюсти, однако помимо царя разный люд в палате собрался, да и не только люд, но и зверье. Смотрите-ка, из родов великих и благородных сидят бояре опричные Федор Михайлович Трубецкой да Никита Романович Одоевский, свои люди, жаль, в опричнину переведены. Ему, Воротынскому, ровня. Сидят на почетном месте, как и положено. Что ж, и при них стоять ему вместно.

А вон окольные опричные, Дмитрий Бутурлин да Дмитрий Хворостинин. Эти породой ниже, но все ж семейства у обоих честные, древние, а сами стратилатской отвагой украшены. Хворостинины, правда, захудали...

Не люди, людишки, от них уже некоторая поруха чести его происходит. Но таковую поруху терпеть еще можно.

«...А воеводам и головам над сторожами того смотреть накрепко, чтоб у сторожей лошади были добры и ездили бы о дву конь, на которых бы лошадях мочно, виде чужих воинских людей, уехать, а на худых лошадях однолично на сторожи не отпускать...» – читал дьяк.

Но кроме человек присутствовали в палате твари подлые, и от того, что они сидят на лавках своих, а он, Михаил Иванович Воротынский, из высокородных черниговских Рюриковичей происходящий, стоит, приключалась поруха его чести нестерпимая! Вон думный дворянин опричный, Малюта Скуратов, ручной медведь царев, скорый на бесчисленное и много-различное разливание крови христианской. А вон еще Васька Грязной, бесчинный злодей, и тоже думный дворянин. Был чуть ли не в охотниках с собаками у князя Пенинского, и сам, с кобелями спознавшись, стал как цепной пес. С ними ж рядом и в том же чину – злой грызун, в изветах зубы отточивший, Ромашка Пивов. Истинный хомячище: что у кого ценного увидит, всё к себе за щеку тянет, на три века запасается. Пригодится же ему тот запас на Страшном суде!

Какого роду-племени весь сей зверинец? А никакого. Никтошечки. Низкая кровь, неродословный сор. Из грязи, из смрада, из кала царем подняты и за то на всякую скверную службишку для него готовы. Вот кто истинно кромешники!

Отчего мало при государе истинных добрых советников, людей высокородных? Ветхий Израиль пал, ныне Россия – второй Израиль, новый, крестом осененный, держава-чаша, благодатью Божьей до краев наполненная! Почему же отвергнуты царем сильные во Израиле? Отчего страдники приближены? Какой от них совет можно получить? Одно ласкательство и пресмыкание! Премудрый Соломон глагола: «Царь добрыми советниками яко град претверд столпами утвержден». Где те советники? Царю достоин быть яко главе и любить мудрых советников своих, яко руки и ноги тела своего!

Так-то он любит, что перед зверьем будто бы на ответ ставит!

«...Первой станице ехать на поле с весны, апреля месяца в 1 день. Другой станице ехать апреля в 15 день; третьей станице ехать мая в 1 день; четвертой станице ехать мая в 15 день; пятой станице ехать июня в 1 день; шестой станице ехать июня в 15 день; седьмой станице ехать июля в 1 день; осьмой станице ехать июля в 15 день...» – продолжал дьяк.

И вот кто он, этот дьяк? Даже не зверьё, а еще того ниже – клоп без имени, роду и чести, к казне государевой присосавшийся! Крапивное семя.

Сей же миг память по-хамски наемкнула Михаилу Ивановичу, что дьяка-то он знает, и зовут его Иван Лапин, прозвищем Курган. Но Воротынский мысленно прикрикнул на нее: «Молчи! Нет у клопов рода. И даже Курганкой звать того невместно, кого никак звать не надо. У приказных нет имени в делах державных, их имена только перед Богом звучат!»

Еще и перед этим... стоять!

Не напрасно говорят люди: много веры дал государь дьякам, которые его половиною кормят, а другую половиною себе емлют. Прежде у тех дьяков отцы нашим отцам в холопстве не

пригождались, а ныне не токмо землей владеют, но и головами нашими торгуют. Горазды на скребенье в грамотках, всё подчистят, от правды и следа не оставят. Сброд никчемный и лукавый, а какую силу взяли!

О, куда же ты делась, благословенная, добрая старина? Куда ушла ты, Русь честная и добронравная? Где правда, навеки праотцами нашими уставленная? Всюду ложь, срамота и падение! За какие грехи отвернулся от державы нашей Господь Бог, почему попустил Он торжество холопов и ослабу для великих родов? Когда столпы рушатся, как не упасть своду! А ныне рушатся столпы, словно не твердь земная под ними, но песок.

Что было от века, при святом Владимире-Крестителе, при могучем Ярославе-Законодателе, при отважном Александре-Воителе? Род великого Рюрика владел землей русской яко вотчиной своей! Старейший в роду поднимался до степени государя, и был он первейшим среди родной своей крови, но не господарем ей. Сам род, расплотившийся на ветви и ветви, был господарем! Не достоин утвердиться на Руси единодержавству, ибо род хозяйствует, а не один человек. Много у Русской земли хозяев, и то на добро. Все они заботятся о ней, ратоборствуют за нее, уряжают ее и суд творят. Всем найдется труд великий на ее бескрайности, ибо всем она – единый удел. Царь же – главный хозяин, но и прочим хозяевам, единокровцам его, надлежит ему давать долю в делах великих, в земле и в судах. Ему честь, первенство и поклон, прочим же – их часть господарства!

Так было! Ныне же древний порядок испорчен.

Всё долдонит и долдонит проклятый дьяк:

«...А на донецкие сторо́жи посылать стороже́й из Путивля или из Рыльска с весны на шесть недель... А на донецких сторо́жах и из всех украинских городов на сторо́жах во Диком поле стороже́й ставить апреля с 1 числа, а стоять сторожа́м до тех пор, докуды снега большие укинут».

Как только умолк приказной долдон, государь Иван Васильевич тихим голосом обратился к опричным думцам:

– Много потрудился Михайло Иванович. Что приговорите, слуги мои?

И тут Воротынский сорвался: они еще будут рассуждать, где польза, а где вред в творении его! О, ненавистный зверинец!

– Великий государь! Дозволь напомнить: до выезда первой станицы в поле – срок невелик. Следует нам поторопиться. О прошлом годе от татар гроза была. На сей год явятся в силе тяжкой, про то из Крыма без сумненья докладывают...

– Поторопиться? – вкрадчиво переспросил царь и замолчал.

Голос его источал благоухание смерти.

Иван Васильевич посмотрел на князя прямо и твердо. Взгляд его был как удар булавой.

Воротынский в ярости ответил царю таким же прямым и твердым взглядом. Никогда не гнулись Воротынские. Выю их перерубить можно, но не размягчить.

Кто таков Иван Васильевич? Плечистый здоровяк с длинным кривым носом. Речами красен, умом книжен, за державу постоялен, зол и горделив без меры, на пролитие крови яр и, говорят, прелюбодействен. Царь. Но еще и просто человек. Притом человек, во злострастях и самовольствии без отца воспитанный. В деснице его смерть заключена. Но смерти бояться не надо. А надо бояться лишь греха и бесчестия.

– А не будет ли от таковой торопёжки государеву делу повреждение? Хороша торопёжка при ловле блох да при поносе, – подал голос Малюта.

Еще бы! Кто как не он? Главный же умелец угождать царю во всяком свирепстве и сладострастии...

Михаил Иванович на то не ответил ни слова. Очи царские не отпускали его. Тяжко бороться с ними.

«Я не боюсь», – сказал себе Воротынский.

И отвел взгляд. Не от страха – от нелюбви к бесчинию.

– Напрасно опасешься, князь. Промедления в твоём деле не будет, – молвил царь так, словно не случилось промеж ними ничего, словно не видела их прямой встречи вся палата. – Помнишь ли, каково было под Казанью?

О чем вопрошает Иван Васильевич? Воротынский силился понять – и не мог. О том ли, как вместе они, царь и воевода, бились за веру православную? Как взяли Казань, так ощутили себя всесильными и долго отвыкнуть не могли. О том ли, как в день, когда русские полки пошли на последний приступ, иные воеводы взяли под уздцы коня царского и подвели его вместе со всадником к самому пролому, дабы устроить трупов, победивших было от сечи? О том ли, что у самого государя, молодого ещё и пребывавшего тогда в полной воле у воеводского синклита, разрешения тогда не спросили? О том ли, как после взятия казанского царь сказал своим боярам и воеводам: «Ныне оборонил меня Бог от вас!».

Не поняв, Воротынский ответил в простоте:

– Всё помню, великий государь, – и отдал поклон.

– И я также помню всё. И доблесть твою. И как у ворот казанских реяла на ветру великая хоругвь московская с Михаилом-архангелом. И брата твоего, Владимира... – Царь на миг замолчал. – Истинно храбрый был человек.

Ох! Владимир-то государева коня и вёл, вспомнил князь.

Но никто, кажется, не понимает, о чем беседует с ним Иван Васильевич и какую дерзость поминает, принятую им от рода Воротынских. Больно молоды прочие. Не помнят, не ведают. Для них царевы слова ничего, помимо похвалы, не содержат.

А в них – угроза. Не перегиби, мол, князюшка, палку. Многое припомнится.

– Облегчение боярину вышло... пока, – зашептели слова Малюты. Сказал на ухо Грязному ровно так, чтобы было едва слышно... каждому.

Воротынский содрогнулся: «Крошечный аспид отгрызнул яд лютый от своей несытой утробы, и не ущучишь его!»

– Великий государь! Иван Васильевич!

Все с удивлением повернулись к Хворостинину. Что ещё? Какое ему дело, когда царь и столп царства беседуют?

– Говори, – позволил ему Иван Васильевич с легкой досадою.

– Устав хорош, тут и спорить нечего. Князь Воротынский татарам знатец наилучший, все в его грамоте с радением к твоей, государь, пользе устроено. Править нечего, добавить бы самую малость.

Воротынский воззрился на Хворостинина с ревностью: какой ещё околесицы добавить ищет?

– Говори! – повторил царь уже со вниманием.

– На поле Дикое послать бы, по твоему, великий государь, наказу, толковых людей... скажем, князя Михайлу Тюфякина да дьяка Ржевского. Им бы смотреть места, крепости и урочища, до которых ездить станицам и где пригоже будет сторожи поставить.

– Дельно, – откликнулся Трубецкой. – Места бы заранее переписать да на чертеж положить.

– Что ж, украину, Федор Михайлович, ты знаешь не понаслышке. Да и ты, Димитрей... – сказал царь и поглядел на Воротынского, ожидая его слов.

Князь выдавил из себя:

– Неглупо, – потому что и впрямь это было неглупо.

– Быть по сему! – утвердил Иван Васильевич. – Найдется ли ещё какое-нибудь прибавление?

Молчали бояре опричные, молчали окольные, рта не раскрывал подлый охлестыш Малюта со товарищи, безмолвствовал, склонив голову, безымянный дьяк. Воротынский перевел дух: дело кончено.

– Вижу твою нелicenseрную службу, Михайло Иванович, – продолжил царь. – И ныне жалую тебя серебряным позлащенным ковшом со именем моим... Курганко! Поднеси Федору Михайловичу.

Повинуясь воле царя, Трубецкой принял ковш у дьяка и с легким кивком подал его Воротынскому. Князь глянул на цареву награду, и сердце пропустило удар. Тот ковш, что подавала ему когда-то истовая надежда на благое устройство Руси, наполнился крепким медом, а этот пуст.

Пусто. Ничего не осталось. Высокое отошло. Что ж на месте его?

Одна служба.

«Благодарю тебя, милостивый Боже! Хотя бы из благородных рук принимаю пожалование, а не из лапиц приказного... Уже не любят меня, но еще не позорят».

Взяв ковш, Михаил Иванович молча поклонился государю.

Вечером того же дня государь Иван Васильевич, помолясь, отходил ко сну.

Вот уже полтора года томился он вдовством. Да и допрежь кончины царицы его, Марии-черкешенки, вышла остуда меж ним и женою. Всем хороша Маша, да не наша... Истинно, не наша. И вроде юна, и вроде статна, и вроде веселила душу когда-то, да скоро постыла. Чужая, дикая. Злая. Слова русские непутём кособочила, никак выучить не могла. Ходила не так, смотрела не так. Пахла тоже не так. Гарью почему-то пахла, головешками не остывшими... Вся какая-то острая, в углах и задоринах. Ко всему – неплодная. Всего одно дитя дала, да и то – полудохлое. Какой в сыне толк, коли он два лета Божия увидел, а потом в могилу лег? Больше же сынов у черкешенки для него не нашлось...

Скоро уже конец его вдовству, скоро конец томлению. Отовсюду собраны сюда, в слободу Александрову, девки; доверенные служилыцы смотрят их, годны ль на царское ложе. Англицкий немчин Елисей мочу их досматривает и по моче судит, не больно ль нутро.

Пускай смотрят! Авось добрых невест отыщут для сынов его от самой первой и самой лучшей жены, какой уж не будет никогда. Той, что была до черкешенки... Как давно ушла она! Уж и образ ее выцвел, сделался яко светлое пятно на сером черкесском полотне, яко запах счастья, едва чрез запах едкого дыма пробивающийся. Хоть сынам ее подарок теперь выйдет... Так что пусть смотрят, пусть!

Он-то уже *для себя* выбрал.

Та была темна, эта бела. Та остра, эта кругла. Та нравна, эта тиха. У той речь по камням бежала, с высот падала и в брызги расшибалась, у этой плавно течет, словно великая река по равнине. Та горячительна, эта напевна. Та – огонь, эта – земля с травами и цветами.

И пахнет... молоком.

Марфуша...

Не навестить ли невесту? Сколь еще надо ему терпения! Нет, нельзя. А что, она не перечила бы, ежели и до свадьбы порушил бы ее девство... Ему – не перечила бы.

Нет, не надо к ней идти. Хоть и государь, а надобно иметь страх Божий. Грех сладок, да марок, лизнул меда, да влип в дёготь. Душу бы не помрачить...

Сказано от святого апостола: «Блажен муж, иже претерпит искушение...»

Потерпеть-то чуть-чуть осталось.

Иван Васильевич двадцать раз прочитал Иисусову молитву. Ну? Дрогнули ноздри, потревоженные запахом молока, явившимся неведомо откуда. «Господи, посрами беса, борющегося мя!» И еще раз. И еще. И еще, и еще, и еще...

Успокоился.

За миг до погружения в сон пред его умственным взором промелькнуло лицо князя Ворынского. Медлительный воин, крепкий и стойкий, но неповоротливый и весь какой-то древний, замшелый, не от века сего, будто бы и боярин не его, московского государя, а неведомого князя владимирского, какие были на Руси три века назад. Могучий богатырь Акинф Великий, коему ссекла голову быстрая московская сабля. Или же сам – великий князь владимирский... Все они в помыслах своих – великие князья владимирские, все помнят старину, все никак не забудут, что есть у них право, пусть ветхое летами и призрачное, занять великий стол, вогосудариться. Шуйские помнят. И Ростовские тоже помнят. И Одоевские. И Курбский – дурак и мятежник, слаб породой против всех сих, а туда же – помнит, что из Рюриковичей он, из ярославских. Тоже – господарь бобров на деревенской запруде! Шумен и бестолков был, покуда к литовцам не перебежал, а перебежав, и там, говорят, таков же... Вот и Ворынский крамолу в душе лелеет. Не скажет, никогда не скажет! А и говорить не надо: лица у него такое выражение, что без слов всё рассказывает. Архонт! Эпарх! Сильный во Израиле! Как-нибудь так небось про себя думает... «Я тоже чуть-чуть государь...» Верно? «Я тоже чуть-чуть хозяин Руси...» Верно?

Никак не поймет князюшка – и никто из них, глупцов, не понимает: у Руси ныне один хозяин – царь.

Так и будет вовеки: российский самодержавец сам владеет государством, а не бояре и вельможи! Отменилась старина, новая для Руси жизнь уставлена.

С этой мыслью Иван Васильевич уснул.

Глава 5. Русский мёд

В России не случается ничего неожиданного. Ты можешь добыть то, что тебе нужно, если знаешься с высокими людьми. Ты можешь засудить кого угодно, если в судьях твой добрый знакомец. И ты можешь избежать любого суда, если у тебя водятся деньги.

Что ж, коли захотел испечь пирог, сначала помасли сковороду...

И тебя, конечно же, постараются обмануть, обокрасть, а когда не получится обокрасть, то – ограбить. Иногда – ограбить по суду. Ты не предвидел этого? Да ты дурак, святая простота, *blazhennoi*, как говорят русские. Тут ведь нет ничего неожиданного – для человека, который заранее готовится к маленьким русским неприятностям.

Если не зевать, вертеться и никому ничего не прощать, то и в России можно устроиться с удобством.

Вот подьячий Сытного двора. Он читает твою *kormovaja pamiat'*... Боже! какой варварский язык! Он, конечно же, хмурится. Он губы поджал, он само недовольство. Солнышко, зайчик, я знаю, милый, ты на государевой службе и сейчас ты мне скажешь, что надобно доплатить...

– Кормовая память по меду-то просрочена. Месяц, две седмицы и день просрочки-то. Воля ваша – брать мед, не брать, а доплатить придется, господин Хенрыш... Хенрык... – Подьячий тяжело вздохнул и развел руками, мол, до чего же варварский ваш этот немецкий язык, и, наверное, мысленно обозвал проклятой латыной или же злой люторовой ереси злым сыном.

– Сколько ж?

– С каждого алтына по деньге. У нас всё честь по чести, вон писец в казенной избе, грамотку составит, на грамотке «деньги взяты» накарябает, а дяк руку свою приложит для верной истинности сего письма. Не обманем.

– Служба?

– Государева служба, – с вежеством поправил подьячий.

Ну конечно. Не обманет. Ну да. Положено за просрочку в получении кормового меда казенного по деньге платить с полутора алтын с деньгою, то бишь, одну десятую, а этот одну шестую норовит выбить. Вот же голубчик...

И стоит-то как! Нагл, но в самую меру. Ни слова злобного. Смотрит – глаза в глаза, и очи небесной чистотой светятся. Не груб, но строг. Честь государеву блюдет. А что подошел столь близко, ровно шаг до тебя, и чуть склонился, аж нос его в вершке от твоего, да капельки слюны изо рта его до усов твоих долетают, так тут ведь оскорбленье тонкое, за него на суд не притянешь. И что усмешечка край уст подьяческих самую малость приподняла, так и здесь мера соблюдена – кто ее, усмешечку эту, кроме тебя видит?

И ты сам склоняешься к нему, между вашими носами уже полвершка, а не вершок, да руки за спиной складываешь. Ты ему показываешь, что и сам калач тертый. А не покажешь – обведут. Общёлкают! Вот так у русских водится. Малую малость пропустил, не так слово молвил, не там поклонился, не тому много чести выказал или не тому – мало, и дела твои дрянь. Но кто обвык к местным порядкам, тот на Москве как сыр в масле катается. Так-то.

И ты говоришь ему негромко *правильные* слова:

– Рука руку моет.

Ты твердо знаешь, что именно так надо сказать, ибо тебе это объяснил добрый знакомец. Скажем, Иван Тарасович Соймонов, Сытного двора глава и этому подьячему прямой начальник. Сам он, разумеется, с подобной мелочью возиться не станет, но охотно объяснит, что к чему. А может, и не он объяснил, никогда не надо никого называть, так что это, наверное, совсем другой человек.

И еще у шапки на голове подъячего – опушка из черно-бурой лисы. Ты знаешь, сколько стоит такая шапка. Тебе ли не знать, что он ее на честные деньги никогда не купит.

И ты точно знаешь, что он тебе сейчас ответит, ибо в России не случается неожиданно-стей. Он произнесет нечто вроде «Не обессудь, потолкуем».

– Можем и поговорить. Не обессудь, Андрей Володимирович.

О, твое русское имя он откуда-то знает, смотри-ка! Впрочем, тут все всё знают, и никто не говорит откуда.

– А может, с трех алтын всего-то деньгу, а грамотки нам ни к чему? Я честности государевых служильцев доверяю без сомненья.

Ты уже пересчитал в уме: такова, в русских деньгах, восемнадцатая доля.

Усмешечка убралась. Стоит прямо, как на воинском смотре. Тут любят воинские смотры...

– Итого алтын и две деньги со всей просрочки, – сухо, по-деловому отвечает подъячий. Мигом подсчитал! Можно не проверять, у него в голове счеты, какие обожают москвиты, – из сливовых косточек. Щелкнул туда-сюда, и готово.

– Вон мой слуга косой, в драном полушубке, к нему бы подойти, он даст.

И подъячий делает неведомо кому почти неуловимый для глаз знак... двумя пальцами пошевелил, веки опустил. Всё. Тот, кому сей знак предназначался, споро подходит к твоему слуге.

А подъячий уже улыбается, уже угодливостью лучится, уже полупоклон тебе отдает.

– Не желает ли светлой боярин... с выборцем? Лучшенького медку?

Ах, как заговорил, верный служилец государев! Ну котик ласковый, а? Паршивец.

Хороший день! С утра ты послал к судье Рязанского дворца, старику с чудовищным, абсолютно не выговариваемым именем Shcherbina, свата, которому не отказывают. Потому что господин Иоганн Таубе, лифляндский дворянин и главный советник московского великого князя по ливонским делам, не позволяет отказать себе. Он может *videt' ochi* государевы раз в седмицу, а то и чаще, одного слова его достаточно, чтобы высокая десница великого князя стиснула какого-нибудь простоумного петушка, посмевшего перечить господину Таубе, и раздавила, как гнилой орех. Высоко летает господин Таубе... и дорого обходится. Но по вечерней поре он привезет безоговорочное согласие от седого жирного тестюшки. И это очень славно. Во-первых, зятю достанется треть наследства после того, как старый филин сдохнет, а наследство там изрядное. Не то что он сам заработал от службы, от удачных судов с дуралеями, от явной, разрешенной, и всем известной корчмы, которая в *argisnina*, а также от корчмы тайной, которая в *zemshchina*. Нет, у русских ума нет, чтобы столько заработать, вернее, ум у них другой, ленивый, неподвижный, как дерево. Но все-таки приличная выходит доля от наследства... уж не говоря о приданом. Во-вторых, сама девка хороша. Бела, как творог, мягка, как сметана, малость худосочна, но тебе так даже нравится. Ты всегда предпочитал маленьких женщин.

Ты умный человек, и девка достанется тебе.

Так будет, потому что... ну какие неожиданности в России?

– Так с выборцем ле? Нет ли желанница?

И ты, так и быть, говоришь согбенной спине, ибо полупоклон, пока ты размышлял, превратился в глубокий поясный поклон:

– Давай. Сколько?

– Три деньги с полушкою.

Ты вздрагиваешь. Плохая примета! Тебе говорили: «Мед по выбору – три деньги, без торго». Отчего же три с полушкой? Зачем такая перемена? Вроде б ладно, велика ли добавочка – серебряная монета величиной менее ногтя на твоём мизинце? Четверть мариенгроша, пустяк. Но, говорят, когда цена с полушкою на конце – это к несчастью. Суеверие, варварство!

Следовало бы перекреститься, но русские не должны замечать ни твоей растерянности, ни твоей слабости. Нет, не сто́ит.

Подьячий разгибается, и ты ему просто киваешь. Чем важнее тут господин, тем меньше он болтает с приказным людом...

Тогда он, осклабясь, ведет тебя к погребу, и за тобой шагают двое слуг с бочонком из липы.

Из погребов мед приносят те, кто к тому приставлен. Они отмеривают мед в погребе по своему желанию, потом уже выносят его наружу и наливают иноземцу в его бочку. Соглашается тот принять мед, какой и сколько дали, – хорошо, а коли нет, то не получает ничего. Московиты варят очень разный мед: и хороший, и плохой, и сущую дрянь. На дряни, говорят, сберегается третья часть меда-сырца... А если иноземец одаривает этих ребят, то сам спускается в погреб и может цедить мед на пробу из всех бочек. Что тебе придется по вкусу, то ты и прикажешь нацедить и получаешь, конечно, свою полную меру, сколько положено. Ну а если ты умрешь или ты такой тупой, что дашь себя убить, то эти куманьки с Сытного двора целый год будут заносить в отчет все «выдачи», какие тебе назначены от великого князя по *kormovaja ramiat*!

На входе ты даешь подьячему три деньги с полушкой. Это только его серебро, им подьячий с начальством не делится, а потому и пригляда за ним нет. Просто даешь, безо всякой хитрости.

В ответ он протягивает тебе чарочку из высеребренной меди.

– Чистая, не погребуй!

Ты ходишь, цедишь вволю, пробуешь, а подьячий бродит за тобой молча, как тень. Приглядывает, как бы ты не упился хмельным медом вусмерть или не начал безобразничать.

Крепкий русский мед входит в твою душу, и ты уже чувствуешь шелковую истому. Мед гладит твое сердце, нежит твою плоть, прикасается к твоим усталым глазам, точно белая ласковая девушка...

И даже бородатый подьячий в дерзкой шапке из черно-бурой лисы начинает казаться тебе приятелем.

Ты с трудом напоминаешь себе, что тут каждый мошенник, вор и плут, других нет. В России дорогие шапки носят те, кто их недостоин. Великий князь – тиран и *krovoadetz*, как шепчутся между собой русские, но он захотел выжечь каленым железом всю эту скверну. Ныне из страны, пусть она запустела и ослабла, вместе с кровью выходит гной. Правильно. Пусть будут все холопами, снизу доверху! Лишь бы не были ворами.

– Вот из этой! – указываешь ты слугам на медовую бочку, содержимое которой крепко, густо, сладко и запах источает... не пойми чего... расслабляющего... каких-то травок... детства... Ты был ослом, когда в церковной школе ткнул другому ученику шилом в руку. И еще глупее, когда присвоил эти жалкие гроши на строительстве в Риге. Мог бы жить в окружении родни, пусть бедно, но тихо... и скучно. Скучно!

– Из лугового, стало быть... – произносит подьячий.

Ты привычно различаешь в его голосе: «Шел бы ты прочь, поганый немчин. Пора тебе».

До чего же красивая шапка! Тебе бы она пошла больше. Но пока... в России не случается ничего неожиданного.

* * *

Когда в монастырях московских колокола ударили к вечернему правилу, у ворот богатого двора при начале Лубянского переулкa остановился всадник. Близ копыт его коня валялись двое пьянчуг – первый голый, с одним только крестом на шее, второй в исподнем и сапогах, но без креста. Оба лежали мирно, никакого шумства от них не было. Один спал в собственной блевотине. Другой, выпучив глаза, силился встать, но ничего у него не получалось.

– Эй! – крикнул всадник. – Здесь ли живет опричной немчин Андрей Стадный?

– Андрей Володимирович, – поправил его хозяин, тотчас вышедший чрез калитку.

– Ну, добро. Вот тебе письмецо от господина моего, Ивана Таубева.

Хозяин с жадностью вырвал свиток из руки гонца. Сей же час посланец ускакал.

«Друг мой Генрих! – писал господин Таубе. – Я пытался оказать тебе услугу, но из этого ничего вышло. Видит Бог, я приложил немалое старание. Но Щербина Васильевич проявил не меньше упрямства, нежели апостол Фома. Старика не разубедили никакие разумные доводы: что ты богат, что в роду твоём, у славных Штаденов, бывали бургомистры и что ты сам ходишь в товарищах у людей высоких и значительных. Даже гнев мой его не испугал. Дочь его также не изъявила доброго к тебе отношения. Станным образом оба, отец и дочь, отвергли сватовство из-за какой-то глупости: будто бы для них бесчестье связать свой род с человеком, который содержит корчму».

Глава 6. Добрые люди

– ...Кабы не имел страха Божия, то и не выдал бы Дуняшеньку мою никогда и ни за кого. Была бы тут, при мне, до самого моего до скончания. Живем с нею душа в душу, кого ей надо, когда я у нее есть? С серебра у меня золотом ест, крошки с нее сдуваю, птиц певческих ей завел, из-за моря привезенных! Вот только Господь тревожит совесть мою: мне ведь шестидесят первое лето пошло, и сколько Бог мне еще отпустит, един Он и ведает. Здравием я крепок, грех жаловаться. А ну как проживу еще десять лет? Или двадцать? Как лягу в земляной пух, с кем она тогда будет? Кому зандобится? Старая-то девица! И ныне-то последние годки ее текут для замужества годные...

Щербина остро глянул на Хворостинина, однако тот поправлять хозяина дома не стал. К чему? Правду говорит. Оба они тут не вежеством меряются, а меж родами нитку пропускают, и от того, как ныне дело решится, зависит, что за жизнь у детей, внуков и правнуков будет.

Первое на Москве дело – вера во Иисуса Христа. Ею по всякий день подпоясываемся. Второе – служба государева. Ее, как благое тягло, по все дни на хребтине несем. А третье, прочих иных важнее, – семейное устройство. Всем родом люди поднимаются, всем родом опалу терпят, всем родом падают, всем же родом из захудания вновь выходят. Един человек – никто, мошка, цена ему деньга с полушкою на торгу. Семейство же – сила. И одна честь на всё семейство дадена...

Ради семейства живем, Бога о спасении молим, а государя о милости и защите. Так свой век векуем, к иному не приучены! А потому в семейственных делах торопёжка ни к чему. Токмо глупец поспешает, мудрый же человек в семейственном разсуждении нисколько не поспешлив.

Вот и Хворостинин вел дело без спеху, давая Щербине выговориться. Догадывался, к чему беседа их клонится, много о Щербинином нраве от Кудеяра слышев.

Никита же Васильич Тишенков, Щербиною прозванный, не обрета от князя ни встречи, ни слов благостных, молчав немного, продолжил:

– Всё за тебя говорит, Дмитрий Иванович! Род мой от бесчестья спасаешь, а мог бы погубить. Своим родом славен. Дostatка не лишен – ведаю, ведаю! Федя вот за тебя говорит, а Кудеярка, душа бесшабашная, и вовсе по твою милость соловьем заливается. Един ты ему истинный друг, не плут и не собутыльник... Отдал бы Дуняшеньку за тебя, оторвал бы кусок от сердца. А всё же... всё же...

И вновь умолк, очи прячет.

Хорошо встретил Никита Васильевич Хворостинина. За стол усадил, хлебом угостил и медом питным, сыченым. О здравии спросил, тако ж и о здравии родни; отцу похвалу отдал, о делах двора государева, о татаровях и о литве поговорил. Ни в чем не сгрубил. А теперь вот и рот раскрыть боится – о столь невиданном деле, по всему видно, затеялся известить.

Помогать ему не след. Вольно чудить человеку! А кого причуда – того и отчудочек.

Сидит, сопит, птицею подрогшей нахохлился.

Хворостинину нравился хозяин дома. Седовласый, дородный, кабанистый чревом и ухватками, Никита Васильевич во всем являл порядок и доброе разумение. Говорил со внятностью, основательно. Не трещал без умолку, но и не медлил напрасно. Такового бы воинского голову Хворостинин в поход не взял бы под страхом смертной казни: в степи, против татарина, резвцы потребны. Да и грады литовские брать без неповорóтней такожде сподручнее... А этот всех задержит, да еще и лошади своей спину ломит. Но в московском приказе, над хитрыми дьяками и ленивыми подьячими главенствуя, всем делам давая строй, всем правилам – строгое соблюдение, сей породы человек справится лучше любого другого.

Ополовинил Никита Васильевич ковши́к с мёдом и вновь заговорил.

– Не вини меня, Дмитрий Иванович! Сам знаю, разбаловал дочку паче всякой меры. Токмо не отдам Дуняшеньку без ее ж повольного слова. Каково тебе – девку о замужестве спрашивать? Коли соромно, не обессудь, кончено меж нами дело. А если ты, большой государев воевода, прямой девкин ответ на свое вопрошание готов выслушать и не в бесчестье себе то поставить, ино сей же час ее кликнем да по её слову-то и решим.

Како ждали, тако и вышло. Среди родов высоких такого, конечно, не водится... Ин ладно, без труда не выловишь и рыбку из пруда.

– Хочу я, Никита Васильевич, сделать твою дочь своей женой и в том искании крепок. Желаеть дочь свою про то спросить? Что ж, на то твоя родительская воля. Коли по доброй воле ко мне пойдет, а не по единому отцову благословению, так оно и к лучшему. Однако и ты меня уваж: дай мне с твоею дочерью наедине поговорить.

Щербина аж вздрогнул.

– Сего в благородных домах не водится!

Хворостинин отвечал с улыбкою:

– Так и твоя затея не в обычае... Послушай! К роду Тишенковых и к тебе самому совершенное у меня почтение. Бесчестья вам ни малейшего не случится, ибо никто не проведаст, как я жену свою уговорил. Между нами останется... А к какому-нито иному сорому я не навычен. Верить ли мне?

И Хворостинин улыбнулся так, словно было уже у него с Дуняшей венчание и сидят ныне два свойственника, о житейском покойно калякают.

Никита Васильевич изумился:

– Отчего в тебе уверенность такая, будто ведаешь тайное слово или лопские колдуны тебе гадали и всё заранее ими предсказано? Жену уговорил!

Хворостин поморщился:

– Тайным наукам не обучен, а лопскую дрянь на дух не переносу. К чему тащат этакую мерзь на совет в благородные дома? Дарами им угождают... Да это всё кривота, бесовское, срам и безмыслие. Никита Васильевич, крещеному человеку о том и думать не надобно! Моя наука простая, от отца: кого Господь соединить захочет, тех весь свет не разъединит. А к твоей Евдокее меня с неба тянут, не иначе. Воспротивиться невозможно! Прежде не бывало сего, и не мыслил, что таковое случается.

Ни слова не говоря, встал Щербина из-за стола да пошел дочь звать. Только дверь отворив, чуть задержался. Видно, не мог до конца сердце свое, отцовское, утихомирить: кусок его отрывался, а всё остальное терзалось, не чуя, на добро то или на дурно?

Потом вышел все-таки.

Хворостинин сидел за столом. Дуня опустилась на лавку у окна, в трех шагах от князя. Не смотрела на него. В пол смотрела, в окно, на образа, что в красном углу, только не на него.

Посидели немного в тишине. Может, тишиною всё и кончится? Увидит, что холодна, да и уйдет восвояси. А ей и впрямь зябко. Плечи мерзнут, сердце с наперсток стало и как дерево твердо: ни страха там, ни теплоты, ни надежды. Было б еще смятение, а то и смятения нет, едино желание – коловерти сей избежать. Даже любовь к батюшке и та испарилась: надо бы сделать по его, да что-то мороз во всех составах тела, мороз последние силы отнял. Зачем отец оставил ее с этим вот... исполосованным? Как ей теперь защититься?

Сейчас к замужеству принуждать станет, волю ее согнуть захочет. А желает ли она сама гнуться?

Наконец заговорил жених ее нежеланный.

В голосе его не слышалось ни грубости, ни злобы, ни воли мучительской, неодолимой, одна только терпеливая ласка с каплей волнения.

– Есть у меня под Нерехтою вотчина, а в той вотчине малое озерко. С тремя другими протокою оно соединяется. На берегу озерном – мостки, а к мосткам лодочка причалена. И если сесть в ту лодочку на Вознесение Господне или седмицею позже да степенно поплыть, едва веслами пошевеливая, то вокруг сотворится рай Господень. Над водою деревá склоняются, ива да ольха, над сопровитным берегом сад яблоневый цветет жарким пламенем. Ветер гонит рябь тонкую, травы чуть колеблет да солнечные лучи водáми нежит. А в травах зайцы хоронятся, выглядывая сторожко. Рыба тут и там плещет, птицы над головою щебечут. Тепло и тихость надо всем.

Дуня, сначала нехотя, а потом все более поддаваясь мягкости голоса его, представила себе ивы, простершие руки с листвою над озером, трепет трав да яблоневый цвет... И даже как будто услышала бормотание воды, котиком ласковым толкающейся лодке в скулы.

– ...А можно бы в протоку войти и обрести белые кувшинки, Господней рукой щедро там разбросанные. Меж них утица плавает, за нею же выводок поспешает – малые утенята. До того людей не боится, что к ней руку протяни, и то не спорхнет, а токмо отвернет к заросли...

Душа девичья вбирала всю эту сладость с охотой. Хворостинин словно бы знал, чем увлечь ее, и не наряды ей обещал, и не согбенной спины требовал, а предлагал ей свет пригоршнями. «Видишь, – говорил не сам князь, но голос его, – вот многая радость у меня, и я хочу разделить ее с тобой».

– Ежели плыть медленно, нимало не торопясь, то на голову и на плечи стрекозы начнут садиться, их там великое множество. Во третьем же озерке, под корнями старой ивы разлапистой, нора с выдрю. До чего морда у ней потешна! Только кажет выдра ее редко – к людям не привязчива. Близ тоей ивы на берегу избенка стоит, срубил ее старый, еще отца моего, холоп боевой Надейка Глас. На боях руки лишился, ныне не воин, на посылках его держу. Бобылюет одинешенек... Но хлебом от меня доволен. За то Гласом прозван, что и лесного зверя речь, и крик птичий искусно повторить может, никакого различия...

И вдруг уста ее сами собой отверзлись:

– Захочу дать алтын серебра твоему увечному... Пусть молит Бога обо мне. Позволишь ле?

«Алтын! Кто столько дает? Пропасть денег! Не позволит ведь, еще и к дурам причтёт. Зря попросила! Ох, зачем? Сидела б тихо. Да уж всё, слово – не воробей... А хорошо бы, славно бы дать денег убогому. Пусть бы порадовался, а мы бы Христу угодили».

– Отчего ж не позволить? Надейка – человек исправный, даром что убог. Зла в душе не имеет, там у него всё в целости, никакого увечья. Дадим ему два алтына, пускай порадуется.

Тут она впервые посмотрела на Хворостинина. Не столь уж и страшен. Надежда встала у нее за спиной, руки возложила на плечи, персты умягчающие в душу ее погрузила. «Добрый ведь, кажется, человек... авось уживемся. Ну, посечен, порублен, зато добрый. Стерпится – слюбится».

Сердце сжавшееся, одеревенелое, отмякло.

А он, кажется, почувствовал в ней перемену и заговорил с покоем и твердостью:

– Ты люба мне. Иди за меня, я буду жалеть тебя, я буду беречь тебя.

Тогда Дуня встала и поклонилась ему с покорностью.

Может, не так-то он и плох, кокошник, который замужние бабы носят? Тесна голове стала девичья перевязка с земчугом, иной убор на волоса просится, а рука нейдёт стряхнуть его...

Ох, куда я иду? Помогай же мне, Пречистая!

* * *

Венчались во храме Гребневской иконы Божией Матери, что на Лубянке.

Стоял Великий пост, океан его благоуханный еще и до середины не был пройден, берегов не видно ни сзади, ни спереди. Всяк на Москве знает: женитьбою пост рушить – неблагочинно. Так люди не делают! Оттого свадьба была тиха и скромна – Бога бы не обидеть...

Сам Хворостинин никогда бы не решился на такую дерзость. А хотя б и решился, не дала бы ему новая родня. Но великий господин кир митрополит Московский и всяя Руси Кирилл дал князю позволение жениться посреди поста – другим не во образец.

Оттого получил Дмитрий Иванович леготу, что всей радости с юною женой досталось ему три дня. Не досыта, впроголодь... А потом должен был князь сесть на коня да отправиться за Оку, к Деделову, справлять тайную государеву службу.

Воеводы один за другим присылали царю грамоты: копится на Муравском шляхе крымская сила, сторожевые станицы сочли сакмы великие, быть беде. Требовалось разобраться с умом и рассуждением: чего ждать Московской державе?

По вестям татарским Хворостинину следовало спешить.

Там, в полуденным землях, где разматывается нить великого шляха, завязанная у Перекопа, где по многу верст не отыщешь ни деревни, ни перелесочка, одна голая степь, где в летнюю пору от луч солнечных день нестерпимо жаростен, заворчалось беспощадное чудовище. Это чудовище славилось резвостью и требовало пригляда. А потому время за Окой имело особенный запах, не как в коренной Руси: каждый час промедления источал вонь разлагающихся трупов и острый дух свежего, еще не остывшего пепла на пожарищах.

Глава 7. Изветное челобитье

«Бьет челом великому государю, царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа России апричной службы сын боярской треттия статьи Андрейка Володимеров. Наперед сего служил есми тебе, великий государь, верно, во всех делах, которые ты мне, холопу твоему, приказывал. И яз, великий государь, ныне вновь готов тебе служить, великия, страшныя и смертоносныя дела ведая. Тако, великий государь, содеялось, что был яз, холоп твой, на подворьишке у апричново ж воеводы Фиодора Львова. И той Фиодор сказывал мне, холопу твоему, бутто в прошлом, великий государь, во седмь тысящ сем десят осьмом году, быв со князем со Дмитрием Ивановичом Хворостининым против крымского царя людей у Заряского града, делали они прямое дело. Майя в 21 день сошлись они с крымскими людьми в ночи, и крымских людей побили, и языки многие поимали, и полон мног отполонили. За тое крымских людей одоление жалованы воеводы и головы воинские от тебя, великий государь, золотыми кораблениками, а корабленики те посыланы от Москвы, ис твоей, великий государь, казны, со большим московским дворянином со Шчербыною Тишенковым. И той Шчербына воеводам и головам воинским корабленики сполна не явил, отчего вышло им бесчестье и твоему, великого государя, имени поруха. Оттого было на него, Шчербыню, в полкех мнение великое. А говорят, склоняется Шчербына ко крымскому царю, ищет от него великого жалованья, а тебе, великий государь, не прямит, изменяет.

Я же, Андрейка, холоп твой верный, на службе государской животишек своих истерял нескудно. Дай мне, великий государь, того Шчербыны поместьишко, село Верейку во Резанском уезде.

Смилуйся, великий государь, пожалуй!»

«По указу великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа России судье Московского опричной стороны Судного приказа Вериге Третьякову память: сказанного Щербину Васильева сына Тишенкова взять за приставы и вкинуть в тюрьму до государева указу. Немчину же Андрейке поместьишко Тишенковское не отписывать, покуда дело по его челобитью допряма не обыщется, и будет на то особная великого государя грамота...»

Глава 8. Иноземный узор

Четырнадцать лет попала Дуня Тишенкова к молодому попу на исповедь. Прежний, старый старичок, всё Тишенковское семейство знал лет двадцать. Служил в вотчинном селе Щербины с тех незнаемых пор, когда родители Дуни еще и думать не думали, что появится у них девочка. Был он с Дуней ласков и утешителен. Но вот он помер, и на место его пришел священник строгий. Сколько лет с тех пор веником на совок замечено, а не может забыть Дуняша его сурового вопрошания: «Блуда с кем не сотворила ли, с отроками или с женатыми мужами? Не посмотрела ли тайно на мужскую срамоту? Не давала ли кому себе хватать за груди или за срамное место? Не целовала ли кого, подругу или мужеска пола? Не играла ли с подругами неподобно, сиречь не взлазила ли на них с похотью и на себя не впускала ли? От разжжения похотного в свое естество не сотворила ли блуда перстом или иным чем? Не хватала ли мужчин своею рукою за тайный уд? Отвечай как есть!» Дуня хлопала, хлопала глазами, речи лишившись от изумления, а потом попыталась себе все это прямо посреди храма представить. Священник же не отставал: «Отчего молчишь? Каким из сих грехов грешна? Подобаает тебе покаяться без утайки». И тут она, сообразив, что не может до конца понять, как таковое выглядит, о чем поп ее спросил, сама с тихостью и вежеством задала ему вопрос: «Честной отец! А что такое тайный уд?»

Священник густо покраснел.

Откуда б ей знать? Мать померла, когда Дуня еще маленькой девочкой была, отец о том и не думал с нею беседовать, Федя робок, Кудеярка смешлив, а сестер у ней нету...

Священник молчал какое-то время, потом, не рассмотрев в глазах Дуни ничего, помимо любопытства и непонимания, попытался объяснить: «Раба Божия Евдокея... видала ль ты кобеляку на улице?» – «Видала, батюшка!» – «А что у него меж задних лап висит, тож видала?» – «Видала, отче!» – «Ну, такое у всех мужчин есть, оно-то и называется тайным удом». Тут Дуня представила всё до конца: вот отец ее с мохнатой кобелиной висюлькой, вот братья...

А представив, тотчас обмерла и наземь упала.

Ужас какой! Быть тому невозможно!

И вот ныне лежит она, взрослая девица, на брачном ложе своем, готовясь встретить мужа, на ней тонкая сорочка с вышивкою, а чуть погода вовсе ничего не останется, наутро же быть ей настоящей мужнею женой, а девкой больше не быть... в голове же одна мысль: посмотрит она сегодня первый раз на тайную мужскую срамоту, и душа ее погибнет. Надо бы как-то изловчиться... и не смотреть.

Вон муж стоит, стягивает с себя объяринную ферязь, вышитую серебряным узором да с золотыми кисточками на петельках – заглядение, а не муж! И уж он целовал ее за свадебным столом, за руку не один раз брал, иначе ее касался и даже разговаривал с нею добрыми словами. Совсем почти не страшен стал. Лицо там и сям порезано, губа рассечена, ухо разрублено, око, как у лешака, книзу оттянуто, а целовать принялся – сладостно! Не спешила отрываться от него Дуня... Вроде и страсть Господня – на резаное чело смотреть, и стыд целоваться – при людях-то! Ан нет, яко птичка затрепетала от рук его и от уст... Но теперь другое дело.

Теперь-то он совсем поди, разденется, и... и... там всё видно будет!

И что еще с нею сотворит! Вот подругу Панечку муж лупит. Сильно лупит! А вдруг и ее собственный муж разденется, весь голый будет, да накинется, да как станет ее бить... А он здоровый какой! И голый будет...

Страшно!

Это же грех большой: бить родного, лаять его или клясть, да хотя бы и попросту на него гневаться! Нет, она его пристыдит, и он не станет. Или священнику на него пожалуется, и священник ему воспретит.

Тут Дуня сообразила: «А ну как колотить станет безгневно, страстям не поддаваясь? Раз нет разжжения страстей, значит, и греха нет. А больно же!»

Как же ей здесь с ним быть? Не возмогнет она здесь с ним быть!

Дуня принялась тихонечко молиться. Всё больше Пречистой, да еще чуть-чуть своей святой – мученице Евдокеи, за Христа кончину принявшей.

Хворостинин тем временем снял с себя все облачения, помимо одной только длинной рубашки, и сел на ложе. Дуня метнулась было сапоги с него снять, да видит – оплошала: сняты уж сапоги-то! Ахти, промашка вышла.

А муж треплет ей волосы, яко псов добрые хозяева треплют, и говорит ласкательно:

– Лежи, Дуня. Сего не надо.

Рубашку же не снимает. Гляди туда, не гляди, а ничего не увидишь.

– Ложись-ка, – говорит, – рядышком. Лицом ко мне.

Не бьет! И вроде пока не собирается бить...

Она покорно ложится, как велено.

– Не бойся, Дунюшка. Ничего худого я тебе не сделаю. Полежи тихо, попривыкни ко мне.

Хорошо говорит. Покоит ее.

Дуне становится чуть легче, но совсем на немножечко. Будет же еще какой-нибудь подвох... Вот Панечка, дура и змея, отчего-то не согласилась ей рассказать, как и что делать, а главное, как и что делать станут с ней. «Да всё как у людей будет, не бойся!» – вот и всё, что поведала. Подруга называется. Свинья полосатая, а не подруга!

А Хворостинин принимается поглаживать ее. По плечу, по волосам, по щеке, по шее...

Оой.

Тут она что-то почувствовала, правда, не разбери-пойми что.

– Возьми меня за руку. Сама.

Дуня стиснула ему пальцы. Вот же чудо чудесное: мужа страшишься, а за его же руку цепляешься, чтобы бояться помене! Рука твердая, рука надежная, яко причал для лодочки...

Не злой!

– Поцелуй теперь меня. В щеку.

Она послушно прикоснулась губами к его щеке.

– А теперь не в щеку.

Дуня зажмурила глаза, потянулась к нему. Нет, так не надобно. Муж ведь, не кто-то. Да и промахнуться можно...

Открыла очи, а он уже вот тут, совсем рядом. Уста в вершке от уст. И страха поубавилось.

Она сжала мужнину ладонь еще сильнее и легонько тронула его губы своими.

Во дверь брачного покоя негромко стукнули. Раз, другой. Родня интересуется, прежде всего братья мужнины – целых трое!

– Здорова невеста! Ничего лихого! – крикнул Хворостинин, не вставая с ложа.

Дуня порадовалась: раз дверь не открыл, значит, по обычаю, знак дает: всем доволен. Ею, красавицей-женой, муж доволен!

За дверью послышалось невнятное шебуршание, бряканье, приглушенные говорки. Любопытно им, как и что.

Хворостинин крякнул с досадою. А потом соскочил с ложа, сделал три шага да в самую дверь рыкнул:

– А ну, ступайте вон! Корма нам не надо, не голодны!

Имеет родня полное право и подкормить молодоженов, и ободрить, если какое-нито шевеление у них не заладилось. Ну и поохальничать, коли молодой душой слабоват... А муж на то свое право имеет: пустить или не пустить. Вот и показывает ныне: не суйтесь, не маленький!

– Гостинчики... – донеслось с той стороны неуверенное.

– У двери сложите! Утром подарки погляжу! Всё!

Еще какое-то, прости, Господи, бульканье, шепотки.

– На хрен пошли! Вот я вам, упыри! – взревел Хворостинин.

Хихикают. О, затопотали-затопотали... приступки заскрипели... вниз уходят, дальше бражничают. Слава тебе, Царица Небесная! Избавила.

Возвращается к ней, обнимает за плечо, смотрит нежно. И... жалко, что не поцеловались. Сбилась она? Нет. Вовсе не сбилась. Вот сейчас они с мужем все-таки как следует поцелуются. Вот сейчас. Вот сейчас...

Вдруг ей приходит в голову самая неподходящая мысль: «Отчего же он по сию пору не разделся? Показывать не хочет? Не в порядке что-то там у него? Или ее жалеет? Думает, чай, еще испугается, дуреха-то!»

А она не дура! Вовсе не дура!

Сможет она посмотреть, ничего, как-нибудь справится!

Отчего ж он так низко ее ставит? За маленькую девочку держит!

– Отчего за малую меня держишь?

– Что? – изумляется он.

– А вот и то. Почему рубаху не сымаешь?

Хворостинин замялся.

– Опасаюсь за тебя. Кое-что не надо тебе видеть вот так сразу... Потом посмотришь.

«Вот оно!» – взвилась Дуня.

– Я тебе не трусиха. И я не дура!

Обидно даже.

– Ин ладно. Стяни ее сама. Только медленно, не спеши.

Вот еще! Дуня смело взялась за рубаху, смело рванула ее и... отвернулась к стене.

– Это грех!

– Что... грех-то?

– Смотреть на тайный уд!

– Сказано, – спокойно ответил ей Хворостинин, – в своей жене нет греха, такожде и в муже своем. Не нами, между прочим, сказано. А ты чего, вот туда смотреть боялась?

– Да... – промолвила она тише шагов кошачьих.

– А я-то думал!

Какую окоlesiцу он еще там думал? Все он запутал! Чего в муже еще пугаться, кроме... ну... Ведь не бьет же! Так чего ж?

Дуня вздохнула и решительно перевернулась. Посмотрела. Ох. Ну уд. Уд и уд. И ладно.

Взяла его за локоть и поцеловала в плечо. Потом еще поцелует, получше... Муж. Чем устрашена была? А пустым. Детскими страшилами.

Но какая блажь ему в голову пришла? Непонятно.

– А я было подумал, – озадаченно сказал Хворостинин, – что ты испугаешься.

– Вот этого? – ткнула она пальцем в сторону... в ту самую сторону.

– Нет, вот этого.

Он мягко переложил ее ладонь с локтя на правое бедро.

Дуня, почувствовав странную шероховатость, отдернула руку. Кожа... кожа гладкой должна быть! Откуда там...

При свечном неярком сиянии пригляделась Дуня. Ко всему пригляделась.

Муж ее был сух до поджарости, токмо мышцы на руках толсты. Живот твердый, ровно доска. Руки узловатые, замозоленные, точь-в-точь корни от выкорчеванной пни. И повсюду – маленькие язвинки, царапинки тонкие и широкие рубцы. По бедру же размеивается невиданный узор – какие-то черные хвосты...

Незнакома ей таковая роспись. И вышивка такая незнаема. Да и в книгах буквиц сему подобных никто не чертит.

– Что за... узор?

Усмехается муж.

– Это, Дунюшка, узор иноземный. От трех держав совокупно получен. Вот посередке – след стрелы литовской, вот, наискосок, – отметка сабли татарской, а вот, с ними двумя в пересечении, – разруб от секиры немецкой, самый старый из всех. В разное время обрёл, но на одно место пришлось. Только не пугайся, не отворачивайся...

А она-то уж и думать забыла, где там у ее мужа какая полоса лицо уродует и сколько уха у него не хватает. Не о том думала. Да и... по первости страшно, а потом обвыкаешь же.

Но тут... такая россыпь.

«Господи! – подумала Дуня. – Господи Иисусе! Какую же тяготу он принял... Господи! Да как же так? Отчего Ты боли ему отмерял полной чашей? Господи! Господи! Будь же Ты к нему милостив! Господи! Он же как мученик ради Тебя. Господи! Господи Боже! Какая жизнь у него, у моего... у моего».

– Страшно тебе? Или брезгуешь? – холодново спросил Хворостинин, заметив ее застывший взгляд.

Она не брезговала. Она не боялась. Она больше ничего не боялась. Как будто озябшая, нахохленная птица подняла голову, расправила крылья и запела в ее сердце.

Дуня поцеловала мужа в самое перекрестье рубленого «узора». А потом прижалась к нему щекой и обняла Хворостинина крепко, как своё, как истинного, душою раз навсегда принятого супруга.

– Митенька! Родной ты мой...

Глава 9. Мятеж

– Федька! Кто ты таков? Ты мой брат младший, близ меня ты как воробей близ орла. А ты что? А? Перечитай! Кто ты после этого? Да ты срамина! Ты объеда ядовитая! Ты перед кем меня позоришь? Перед другом моим самым лучшим, перед милостивцем! – Кудеяр положил руку Хворостинину на плечо, но ненадолго и с почтением.

– Не дам... – вяло отругивался Федор. – Батюшка не велел.

– Да ты посмотри, кто с нами? А? Ты разуй глаза и посмотри, невежа! Это зять наш и великий благодетель! Кто весь наш род от великого бесчестия спас? Ныне долг выплачен, и нам теперь никакого беспокойства...

– Ну да, мной же и выплачен... – пробормотал Федор.

– А? Что? О чем ты там жалеешь? О копейках сущих! Копейки – наживем! Нашел, чем попрекнуть! А вот зятя оскорбить – дело последнее! Ты как считаешь, Федька, ну не последний ли стервоядец тот, кто зятьев обижает? А? И каких зятьев! Князь Митрей, ну хоть ты ему скажи! Тебя же сам митрополит с поста на скоромину отволоч, так какая беда, если мы с тобой, яко одна семья...

– Уймись ты! Волчище! – Хворостинин помотал головой, яко конь от слепней. – Мне со женою жить-быть позволили, а не мясом себя набивать и не бражничать. Брат перед тобою на стол велел хлеба свежего поставить, да соли, да медку, да яблок мочёных... чего еще?

И Федор подвинулся:

– Не зря старые люди говорят: сколько ни думай, а лучше хлеба с солью ничего не придумаешь...

Кудеяр досадливо отмахнулся от брата рукой.

– Тебе, дураку, аж в Священном Писании сказано: не хлебом единым жив человек! А? Хлеба, стало быть, мало! Солонину тащи! Курятину! А ты мне – про старых людей, коих давно моль до смерти заела, пыль с головою накрыла да гниль до пят пробрала. И что ты мне обычный старый мёд перед носом ставишь? Это для девок забава! Я тебе что, девка? Ты девку-то еще, поди, не шшупал ни разу, потому меня-то с девкой и путаешь! А мужику мед хмельной нужен, а не этот вот, слатенький! Федька, не дерзи!

Федор, хмурясь, отвечал без смеху, бранные слова едва у себя внутри удержав да сердце ими царапая:

– Гюргя, отец тако сказал, а мы в доме у него ныне. Да и я мыслю по отцову: не надо бы. Март половину истощил, к исходу бредет. Не так-то много от Великого поста тебе осталось, потерпи.

– Мне! А тебе? – буркнул Кудеяр.

– Да мне-то пост в охотку. Прямо бросать его не хочу, когда кончается. Верить ли, братка?

– Да ты вообще ангел! Вот и сиди тихо: ангелам жрать не надо. А нам, грешным...

– Ну, будет тебе, – вновь прервал Кудеяра Хворостинин. – О чем думаешь? Ты же ратник, боец, я тебя с собою беру на великое дело государево, насчет татар разведывать. У меня уж все мысли не здесь, а в поле, со станицами, со сторожевыми заставами. А твое рассуждение всё про хмель да про мясо. Кабы не ведал про тебя, что дельный ты воин, подумал бы, что ты бестолковая затычка кабацкая. Будет тебе шуточки шутить, вон видишь, брат твой уже искры пускает, яко кресало от кремня, не ровен час, трут займется.

Кудеяр глянул на него мрачнее тучи, засопел. Прокашлялся и опять глянул сумно. А потом рассмеялся.

День к сваре не звал, приятный был день.

Они сидели втроем за одним столом в голем саду на задворках тишенковской усадьбы в Москве. Щербина собирался проводить Хворостинина с Кудеяром до окраины московской, было у него там какое-то своё дело, да из дому пока не выходил – снаряжался.

Снег еще не сошел, серые его ключья обнимали черную грязь и, прощаясь с нею, пускали обильные слезы. Но солнышко уже пригревало, уже сеялось златыми зернами на крыши, головы и мостовые, уже тревожило изыбшее лоно земли.

Один грач стоял над большой лужею и рассматривал себя с любопытством, другой с ветки старой яблони посылал ему раскатистое к-и-а-р-р-а, укоряя в лени и бездельи. Третий, ровно чернец, постом изголодавший, да еще и принявший обет безмолвия, с немой грустью рассматривал обоих, устроившись на шатре колоколенки.

Издалека прилетела братия граче-инок. Почуяли, что тепло, а с ним всякое добро и счастье, возвращаются в родные их места, да и полетели вслед за теплом. Соскучились же на чужбине горевать! Задумали из тамошней своей обители доставить сюда ризы поповские да святые иконы, да книги богослужебные, учредить тут пустыньку да и жить в тишине, служа Богу, веселясь милостям Его. Уже и церковку рубить затеялись, да расслаба охватила всю их общину: ловят солнышко крылами, песни поют, в игры играют, за дело же нимало не взялись... хорошо им!

Зинькали наглые, разъевшиеся московские синицы, а хозяйский кот, престарелый пуд счастья рыжепестрого коровьего цвета, стоял под деревом и примерялся, как бы ухватить одну из них да и слопать.

Хороша свежая синица на обед!

– Князь Митрей! Ты таков друг у меня, какового по всему свету не сыскать, хоть в немецких землях ищи, хоть в грецких, а хоть у нас, на Казани! Ради тебя – что хошь сделаю! Ты не верь, я тебе не питух пропитой, я пью да смысл имею. Вот ради тебя одного возьму и вообще пить брошу! Ни меда хмельного, ни вина, ни водки!

– Ни пива... – ухмыльчиво добавил Федор.

– Да хоть бы и так! Ни пива!

– Ни бражки...

– Федька, тать, вчистую меня обездолить хочешь?

– Ни мяса...

Хворостинин не выдержал, захохотал.

– Такого я допустить не могу! Совсем обессилишь – кто со мной крымского царя с его татаровьями гонять будет?

Федор посмотрел в сторону дома, сделал движение рукой: мол, подождите, послушайте меня.

– Не возьму в толк... отчего так отец задерживается? Должен был уж выйти. Гляну, что у него там.

Хворостинин кивнул:

– Давай, давай! Мы и без того припозднились.

Младший брат ушел. Старший же, помолчав недолго, хлеба оторвав и в обруганном меду икупав кусок, спросил князя с легкою обидой в голосе:

– Ужели не веришь мне? Смеешься? Я бы смог. Како бы сказал, тако бы и содеял.

Кусок же намедовленный тотчас съел и пальцы облизал дочиста.

Хворостинин ответил ему не сразу, с промедлением.

– Да верю, отчего ж... Токмо ни к чему это. Достаточно меру свою понимать, а ты... о-о-о, мне, грешному.

– Ладно, ведаю о себе. Неистов. Удержу не знаю. Ничего! Ты укажешь, где мне жар свой поостудить... Я бы и жизнь за тебя, князь Митрей, положил, кабы понадобилось. Не для похвальбы говорю, ты знаешь.

Хворостинин улыбнулся:

– Бог даст, еще жизни-то позакладываем друг за друга.

– Уж это – как водится! Я тебе по гроб...

Кудеяр вдруг прервался на полуслове и уставился Хворостинину за спину. Князь обернулся. Оказывается, Федор только что подошел к ним, но ни слова не говорил и выглядел странно.

Федор сделался бледен, яко луна в тумане, губы его тряслись. Он пытался рассказать что-то, но всё никак не мог вытолкнуть слова из уст. Одную ладонью Федор сжимал другую и обе не знал, куда деть: то вздымал к груди, то опускал.

– Ты что, Федька? Что ты нам тут подуруя изображаешь? Что приблазнилось тебе?

Брат открыл было рот да и опять захлопнул его. Слезы навернулись на глаза ему.

– Где отец? – спросил Кудеяр голосом пьяницы, увидевшего некое злое диво, заставившее мигом протрезветь его. – Что с отцом?

– Забрали отца... – наконец-то подчинил себе уста Федор. – Нет отца.

– То есть как? Кто?!

– Опричные... Из Судного приказа... На допрос повели. Евсейка Костромитин, старый боевой холоп, защищать его бросился, да на месте иссечен был до смерти. Прочая дворня попряталась, насилу рассказать заставил, как беда случилась... А батюшку нашего... Его... Его... о, Господи!

– Да не блей ты, Федя! Дело говори.

Федор потряс головой, словно отгоняя сонную одурь. Потер щеки, очи потер, будто не до конца доверял им: не привиделось ли ему, не случилось ли наваждения?

– Немчин опричной... Андрейка... извет настрочил. Мол, хочет отец наш выехать на имя крымского царя, ему поддаться, а государю нашему изменить. Мол, наградное золото нарочно от служилых людей утаил, дабы у воевод ропот вызвать и мнение великое на государя.

– Золото?! Да что ты мелешь! Какое золото?! Мы ж отдали сполна!

Федор смутился, опустил взгляд.

– Видно... припозднились. Да и наговор, он же и есть наговор. Лжа, клеветы. Во всех смертных грехах обвинить могут без толку и смысла. Государевы служилыцы разберутся, явят, где правда, а где яд иудин... Донос расследуют до прямоты и... Ты что это?

С Кудеяром происходила перемена, напугавшая Федора до заморозка в сердце. Старший брат застыл, раскрыв уста, и смотрел куда-то в сторону, на ствол яблони, на лужу, на синичий базар, словом, ни на что особенное, но с необыкновенной пристальностью. Глаза у Кудеяра остекленели, яко у мертвеца. А когда ожили, стоял в них тоскливый свет закатный. Кудеяр вздрогнул всем телом, будто напал на него озноб. Чело его потемнело, черты лица исказились: только что один человек сидел, ныне другой поднимался из-за стола. Чужой. И голосом заговорил он чужим, хриплым, и слова произнес чужие:

– С-сучки... Отца! Отца моего! Зарублю.

И потянул саблю из ножен.

Хворостинин в один миг перескочил стол и мертвой хваткой вцепился в десницу Кудеяра. Тот силился стряхнуть князя, но не мог.

– Ты что делаешь? Это мятеж. Себя погубишь, род свой погубишь!

Но тот, ровно в бреду, изрыгал бессвязицу:

– Отца! И кто? Коней седлать! Где кони! С-сучки. Кому поверили? Немчину, свинье пивной... Рубить, сечь! Наш отец, отец! Столп! А они! Холопья порода. Нёмчину!... Кони...

Хворостинин не отпускал его.

– Род побереги!

– Убивать. Рубить. Резать. И чтоб ни единого...

Вдруг сила, с которой рвался из цепкого захвата Кудеяр, разом удесятерилась. Витязи в старину пили из неких чародейных источников, и вода наговоренная крепила их мышцу дикой силой земли, тверже камня делая ее. Тако случилось и с Кудеяром, только чаша с зачарованным питьем, поднесенная ко рту его, осталась невидимой. Протяжный вой издал он, и вой этот на конце сменился хрипом. Тотчас отшвырнул Кудеяр Хворостинина, как сухую щепку, да выхватил саблю.

– Опомнись! – бросил ему Хворостинин, вставая из весенних грязей.

Тот упрямо помотал головой.

– Если товарищ ты мне, князь Митрей, иди со мной! Поскачем, отобьем отца! Давай же!

– Нет. Против царя я не встану.

– Бросаешь меня?! Тогда я сам пойду! Один управлю дело! Сколько их там, Федька? А? Десяток? Дюжина? Какая, хрен, разница!

Хворостинин медленно вынул клинок из ножен.

– Не позволю тебе, дурак. Так ты отца не вызволишь, токмо глупостей наделаешь.

Кудеяр шагнул к нему, поднимая саблю.

– Отойди.

– Нет. Я не позволю тебе, – строже сказал Хворостинин, сводя брови.

– Ино я и тебя пройду! – ответил Кудеяр, примеряясь к схватке.

– Это же друг твой! Благодетель! – попытался урезонить брата Федор.

Тот с веселой усмешкою ответил:

– Да хоть сто раз друг, а не стой у меня на пути! Митрей Иваныч, отступись, не дразни. Жизни лишу! Мне торопиться надо, а ты передо мной суёшься. Уйди, Христом Богом молю!

– Нет.

И тут Кудеяр зарычал с подвывом, точно волк вселился в него:

– Уйди же... Р-разрублю... Лучше и впр-ямь чужому цар-рю слугой быть, чем от своего такое поношение тер-петь... Уйди...

– Нет! – ответил Хворостинин и едва успел отбить первый удар Кудеяров.

За первым посыпались новые. Противник князя двигался быстро, нападал с неослабевающим натиском, меняя один прием на другой. Без устали испытывал он оборону Хворостинина на прочность разными способами. И по-татарски, и по-немецки, и по-фряжски, со всем искусством и с неумной лютостью.

При всем том Кудеяр щерился улыбкой зверя лесного. Так хмылит рожу, намереваясь снести голову доброму человеку, пошлый душегубец, попривыкший на большой дороге отбирать жизни с легкостью, потребной для простого откусывания хлеба, и приучившийся получать от того удовольствие.

Хворостинин отражал наскоки Кудеяра твердо, встречал его прочной защитой, откуда бы ни набрасывался он.

Но тяжко приходилось князю: не решался Хворостинин повредить Кудеяру, ранить его или, не дай Бог, убить. Душа князя не допускала сего, отводила руку.

Федор стоял в растерянности, не ведая, к кому примкнуть.

Кудеяр с Хворостининым, зная силу друг друга, вели сложную и стремительную игру. Поглядел бы со стороны небоец и не понял бы, к чему сии рывки, отскоки да уклоны. Два неприятеля словно бы рисовали в воздухе вязь книгописную или узор, назначенный для книжного же украшения. Только один из них макнул «перо» свое в смертные чернила и желал погубить сопротивника, а другой искал мира и оттого писал чернилами милосердия.

– Уймись же! – попробовал Хворостинин еще раз утихомирить Кудеяра.

И, как опытный боец, почуял беду за миг до того, как она явилась во плоти.

Отвлекся Хворостинин, потерял дыхание. Сбился! А тот сложный узор, который выписывали клинками два бойца, требовал внимания без ослабы... Кудеяр не преминул восполь-

зоваться оплошкой Хворостинина. Князь как будто не дорисовал малую петельку, удерживавшую в отдалении от него Кудеярову саблю. Удар страшный, неотразимый обрушился на грудь Хворостинина.

Дмитрий Иванович со стоном опрокинулся навзничь. Оружие вылетело из руки его. Кровь обильно потекла из длинной рубленой раны.

Кудеяр устало отер пот со лба, удовлетворенно покачал головой и замахнулся, желая добить Хворостинина. Но вместо князя перед ним оказался Федор: Тишенков-младший бросился на колени, собой закрывая лежащее на земле тело от братней сабли.

– Гюргя! Меня – первым.

Кудеяр посмотрел на брата в изумлении. На краткое мгновение гнев покинул его:

– Что я делаю... – Кудеяр зажмурил глаза, встряхнул головой. – Что ты со мной делаешь?!

А что же я-то делаю...

Но сумеречная мгла, питавшая его неистовый пыл бойцовский, оказалась сильнее. Рассвирепев на Федора, он изрыгнул в самое лицо ему:

– Проклинаю вас всех... Проклинаю! И тебя, гадину, проклинаю! Не встал за отца. Какой ты брат мне! Ты вошка.

И Кудеяр с такой силой двинул Федора носком сапога в подбородок, что тот пал с колен и распростерся на окровавленном теле Хворостинина. Кудеяр до белизны в пальцах сжал рукоять сабли, рука его задрожала, лицо исказилось, будто по нему прошла черная волна океанская.

– Трус! Трус! Срамёц! Удод смердючий! Убью тебя, трус! – заорал он в лицо Тишенкову-младшему.

Федор тихо ответил ему:

– Я люблю тебя, брат. Бога не оставь!

Кудеяр, от ярости чернея ликом, рубанул тоненькую березку, выросшую посреди сада. Верхняя часть ее легко отделилась от ствола и упала на землю.

– Трус! Холопы души! – кричал Кудеяр, пихая клинок в ножны. – Нет у меня тут родной крови! Прочь отсюда! Ни на что не годны! Падаль, бабё, позор! Не осталось богатырства! Ни в ком ни чести, ни мужества, ни правды! Нельзя такое терпеть! Нельзя такое сносить! Хоть бы и от царя. А и что этот царь? Кровоядец истинный! Нигде правды нет, всё сгнило, всё криво!

Он уходил, выкрикивая всё это в воздух перед собой. Голос его не слабел. Он всё повторял: «Прочь отсюда! Прочь отсюда!» Остановился у поворота пред углом палат тишенковских. Обернулся и помедлил, глядя на Федора. А потом молвил покойно, хладно, будто бы не к человеку обращаясь, а к могильной плите или к собственному отражению в серебряной посудине:

– Баба. Нет, даже не баба, хуже. Ты девка старая.

И с тем ушел, скрылся за углом.

Часть 2. Нашествие. Апрель – май 1571

Глава 10. Милость Господня

«Ангел ле пришел забрать мою душу?» – вот что первое помыслил Хворостинин, когда очнулся.

Очи... где отыскать еще таковые очи?.. словно чистую воду из ручья, текущего по камешкам, разбавили молоком... распахнуты, яко врата леса... велики очи, больше человеческих... чело – высокое, совершенное, будто небо полуденное над полем спелой пшеницы... ланиты тем же светом полуденным налиты, будто бы солнце белое за ними сияло, и то сияние насквозь их пронизывало... нос – точно грудь и шея лебяжьей... уста – лодии киноварные, одна над другою, не плывут, но у берега шепот воды боками принимают... волосы...

Волосы...

Волосы...

А вот волос-то не видно совсем. Под кикой упрятаны волосы.

Нет, пожалуй, не ангел. Не носят ангелы понёву, не вдевают в уши серёжек серебряных с затейливой зернью, не складывают на голове две косы, не покрывают их кикой, шитой травяным узорочьем, и не надевают поверх кики сороку-привязку с простеньким, но нарядным шитьем красной нитью. И какое может быть у ангела обручальное кольцо, ежели нет в ангельском племени ни мужей, ни жен?

А у тех счастливых, которые ангелов умственным взором лицезреют, могут быть всякие видения – одне страшные, другия светозарные, – только вот брюхо у души точно болеть не будет. И на груди у души рана не застонет, а кровавая корка на ней не попросит расчесать ее вдоль и поперек жестоким чёсом.

– Ты ведь из чуди белоглазой, так ле? – Слова дались князю без труда, но болью отдавали они в ране на груди. Перед глазами малость поплыло.

– Зырянка, господин.

Лицо круглое, белое... кошачье. И повадка кошачья – медлительная, томная, текучая. Невозможно взор отвести.

Блазнится... кошка ласковая волшебю превратилась в женщину и глаза ему зачаровала.

До чего же хороша! Речная жемчужина, луг ромашковый, свет дневной, цветами полевыми пахнущий...

Велик Господь в своей мудрости, что не дает ему ныне сил и тем отводит от ума всякое озорство. Он, князь Дмитрий Иванович Хворостинин, слава Богу, женат. И супруга его чудно хороша. А потому всякую прелесть душа его переборет.

Но для верности Хворостинин кратко помолился.

Женщина не обернулась кошкой, однако ум его, напрасно распалившийся, успокоился.

– Ступай, Федора Никитича позови...

Откуда-то сбоку долетело:

– Я здесь, зятюшка.

А... вон он, у окна сидит, подбородок ладонью грустно подпер, взор унылости полон, яко у пса остарелого.

– Воды бы мне...

Женщина поднесла ему чарочку. Напившись, Хворостинин спросил:

– Кудеяр?

– Ускакал. На опричных не нападал, отца саблею вызволить не пытался. Вот и всё, что я знаю.

– Бешена головушка... Щербина?

– Нет вестей... – До князя донесся долгий вздох.

– Сколько... я?..

– Со вчерашнего дня. Я тебя, Дмитрий Иванович, сам сюда отволоку, раздел, обмыл да перевязал. Но, зрю, науки моей не хватает. Нет, не хватает. Позвал... мою... – Он запнулся.

«Вот дела-то!» – подивился Хворостинин сей запинке. А Федор все-таки сообразил, как ему назвать ангелоподобную женщину:

– Знахарку свою... позвал... Она тебя лечила. Не опасайся: без волшбы, заговоров и наговоров, одними токмо травами, да еще...

– А где жена моя? – перебил его князь.

И услышал новый вздох.

– Не хотел ее звать, покуда не очнешься. Отправил дворового, мол, загулял с нами супруг твой.

– Теперь зови! Нет... Пусть меня домой сволокут. Или я сам дойти могу?

– Ой! Нелзе... – воскликнула зырянка, обеими руками прижимая плечи Хворостинина к ложу, не давая встать.

Женщина объяснила, странно выговаривая слова, – так, словно часть их не она произносила, а выводила невидимая птичка у нее на плече, – рана-де неглубока, но длинна. Едва успокаиваться начала, застывает. А прежде мно-ого крови вылилось, ой! Плохая рана. Надо лежать. День лежать, может, два лежать. Потом – вставать, иттить. Тихо-онечко иттить. Долго срасти... Долго срастеется.

– Зови жену... – сделал вывод Хворостинин. – Что поделать, раз такие пряники на прилавок вылегги? Ин ладно. Жена женой. А служба-то моя, видишь ли, пропала... Какое мое ныне путное шествие, когда я – раздавленный червяк? В Разрядный приказ доложить бы надо: авось еще кого-то взамен послать успеют... Ну?

Молчит Федор. Туго ему. Всё же дело вскрыется.

И Хворостинин ответил на невысказанные его мысли:

– А как еще? Пиши письмо в доклад. Покуда я тут лежмя лежал, уже следовало написать... Шила-то в мешке не утаишь. Жаль Кудеярку, жаль дурака, но дела нашего скрыть никак невозможно.

Молчит.

– Напишешь ле?

– Да... – нехотя ответил Федор. – Чуть погодя.

– Скорее же.

И Хворостинин повернулся к женщине.

– Как тебя зовут, волшебная кошка?

Зырянка поклонилась ему в пояс и ответила:

– Я не волшебен... не волшебная... У меня много имен. Какое тебе нужно?

– Такое, каким мне тебя звать.

– Отклину... откли... откликнусь на любое имя, какое услышу от тебя. Наш господин... Фи-о-дор велел почитать тебя. Я не пирен... я не перетчу ему... я чту... Имя первое дали мне отец и мать: Ройда. Смысе... смысл его ныне ничего не стоит, он не нужен. Имя второе дал мне поп: Ан-фу-са. Хорошее имя, мне нравится. Грец... гречин... Ой.

Федор с важностью поправил ее:

– Эллинское.

– Да... эл-лин-ское. Она значит: баба цветёт.

– Цветущая, – добавил с улыбкой Федор. – Радостная.

– Да... радостана... Хорошее имя. Пока была де-ва-чка и де-ви-ца, мать называла Пим, это молоко по-вашему, по-русску. Люди говорили, что пахну молоком. Потом стали звать Йома. Но это плохое имя, злое имя, не надо его.

Хворостинин изумился:

– Откуда у тебя злое имя? Ты же тиха!

Зырянка спрянула взгляд.

– Была не тиха. Была свар-ли-ви-ца. Ведала то, что ведать не надо.

– Что?

Она тотчас же замолчала. Смотрит в пол, очи полуприкрыты.

– Дмитрий Иванович, не томи ее. Ведала то, чего доброй христианке не надобно. Бесовское это. Было и сплыло, нынче нету. Вот и весь сказ.

Хворостинин кивнул. Вот еще, была охота – чужую темень разведывать!

Зырянка тем временем продолжала:

– Ныне следует звать меня по мужу. Такой у нас закон. Ныне я Кась-ян-готыр.

– Жена Касьяна, холопа моего, – перевел Федор.

– Инакое же про-зви-ще – Касьиха Вань.

– Супруга Касьяна Ивановича, – пояснил Федор.

Хворостинин хмыкнул: еще простолюдину с отчеством ходить! Не по рылу ему отчество... Ин ладно, холоп чужой, тут уж воля хозяйская.

Между тем зырянка еще не закончила:

– Я больше не Йома. Я исправилась. Хочешь, зови меня Йома, но лучше не зови, это плохо.

Пока женщина говорила, она ни разу не поглядела на Хворостинина. Ни в лицо, ни даже в его сторону. Князь был ей за то благодарен: ныне он женат, баловаться ему не след. Но в зырянке жило нечто... зовущее. И один Бог ведает, как откликаться на сей зов. Краса ее и впрямь сродни кошачьей: кошка зовёт твою руку погладить ее, и зырянка вроде бы... звала огладить, коснуться, приблизить. Мягка, податлива, скромна и... будто не матерью рождена, а писана на стене храма. Тако и с Дунюшкой: мало не с иконы сошла. Но Дунюшка жена, с нею всё можно. А с этой ничего нельзя. Хворостинин чувствовал, что в зырянке заключено вместе с красою лихо: тот, кто притронется к ней беззаконно, вдоволь напьется потом страдания. За лихом же скрывалась некая добрая истина, но какая... Дмитрий Иванович понять не мог.

– Ступай! – велел ей Тишенков-младший. – Будешь ходить за гостем моим, пока он не оздравеет вполне. А сейчас иди.

Зырянка еще раз поклонилась и вышла из покоя.

Федор смотрел ей вслед, яко смотрит инок-молчальник, постник и отшельник на ангела, явившегося ему после того, как он двадцать лет просил Бога о некоем знаке в ответ на его моления.

Аж светился.

И, заметив пытливый взгляд Хворостинина, нимало не смутился. Вот тебе и Касьиха Вань!

– Как она говорила, ты слышал, Дмитрий Иванович? – И, не дожидаясь ответа Хворостинина, даже не глядя на него, а все еще любясь дверью, чрез которую вышла зырянка, сам себе ответил: – Не говорила даже... нет... слова подобрать не могу...

– Глаголала?

Федор помотал головой:

– Нет, нет, и не глаголала. Глаголет кто? Истину некий древний святитель изглаголал... Вельможа государю правду глаголит. А государь, его много слушав, указ проглаголит... Всё не то! Она... она... журчит. Будто бы ручеек по камушкам... Она как кошка обласканная урчит... так шр-р-р... шр-р-р... Нет. Она... слово выговаривает, словно роняет лист по осенней поре,

и тот лист преждевавших своих товарищей касается с шуршанием... Нет! Нет! Другое. Вот, ближе всего: тихая река меж лесов течет со медленностью и покоем... волн совсем не бывает на ней, но воды ее, смиренные, небурливые, негромкий плеск издают на перекатах. Она – плещет водами слов... Не говорит, не глаголит, но именно плещет... Ежели был бы звук, с коим деревья растут из земли да травы о весне поднимаются, то тако и звучал бы ее голос.

Федор замолчал, и Хворостинин не смел прерывать его дум. Чужую тайну принял он без осуждения, ибо сам был грешен и не дерзал наставлять иных людей во христьянском долге.

Тишенков-младший ходил по палате с волнением. Столь долго отмеривал он шаги, что хватило бы три раза не торопясь прочитать «Верую» от начала и до конца.

Остановился. Вновь заговорил:

– Сказано: женщина в цветении красоты своей плывет яко корабль, изготовившийся к бою. Уже щиты подняты, сабли из ножен извлечены, и стрелы наложены рукой умелой на луки... Но краса красе рознь. Та, первая, боевая, побеждается любовью и законом. Коснись ее рукой законного супруга, и уж нет в ней ничего грозного и прельстительного, а есть любовь, лад. А эту ничем победить невозможно. Дмитрий Иванович, не подумай худого, не о блудном грехе рассуждаю, я не блудник, я плотским помыслам своим хозяин. О другом речь. Жила моя Пим в лесах, в веси какой-нибудь малой, вдали от города, от суеты и мелких грешков, кои творим бесчисленно... мы ведь грешим неослабно, как дышим, да еще друг друга на новые грехи толкаем, мол, ничего, потом как-нито отмолимся! А она... она без этого всего росла, без нашего дурного кипения. Вот и выросла в чистоте. Не изгрядилась, не изгрешилась, не скверна ничем страшным и тяжелым. И сама... будто лес, а в нем всякая зверь лесная, и река с рыбою, и езера со цветами езерными, и ветер со облаками на плечах, и дорога, глухую дебрь пронизывающая, и...

Тут Хворостинину явилось правильное имя того, о чем долго со сладостию говорил ему Федор:

– ...и всё на свете, яко создал его когда-то Господь Бог, яко было у самых начал, в раю, до того, как бесы и люди поперепортити тут и там. Зырянка твоя... она вроде воспоминанья о Творении... Оттого красу ее не победишь, оттого и касаться ее не следует ни скверной рукой, ни скверной мыслью. Верно ле?

Федор кивнул.

– Хорошо как молвил, Дмитрий Иванович! Лепо! Люблю я книжное слово, ибо оно виноград смысленный и тем слаще медов. Мне бы тако сказать, как ты. А я рассеян сделался, некоторого ума не осталось...

– Еще б! Где отец твой, где брат твой! Как не растеряться?

Федор покачал головой со отрицанием.

– Не от того ум мой смешался. От нее... От моей Пим, от речной жемчужины моей...

Хворостинин вздрогнул от такового совпадения.

– Ты, брат...

– Всё знаю! Взять в жены не могу, оттого что она замужем, да и званья не моего... Правда, вон святой Петр, князь Муромский, бортникову дочь из деревни за себя взял, простую девицу...

– То святой, а то ты! Нет тебе такого пути, род уронишь.

Федор ему отвечать не стал, он толковал про свое, не очень-то и слушая Хворостинина.

– Взять ее спроста – тоже не могу! Душа блуда не приемлет. А и отказаться сил нет. Хочу, чтобы она рядом со мной была, не могу отпустить! Скажешь мне: от мысленного волка звероуловлен, – яко святым Иоанном Златоустом писано?

Хворостинин ничего Федору не ответил. Какие еще есть словеса у Иоанна Златоуста, Бог его знает! То всё для книжников.

– Может, и так. Но я до скверны опуститься себе не позволяю... Как быть? Может, во иноки постричься? Вот благое средство-то для исцеления! Но сказано в Писании: «Крепка, как смерть, любовь; она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее...» Сил нет у меня – пойти в обитель! Или все же пойти?..

Говорил бы Тишенков-младший о душевной своей язве, и говорил бы, и еще бы говорил без унятья, но Хворостинин дал ему угомон – схватил за руку. Тот замолк разом и будто бы ото сна очнулся.

Тогда князь сказал ему:

– А теперь... не при бабе: живот разболелся. Доведи меня до дырки, шурин мой многоценный! Без баб, без дворни, без сраму для меня. Сам. Поможешь ли? Христом Богом...

Тишенков-младший в ответ горестно покачал головой.

– Помочь-то помогу, отчего ж, мы ведь в свойстве с тобой ныне, мало не в родстве. Токмо иначе... Не будет тебе никакой дырки, Дмитрий Иванович. Еще день не будет, а то и два. Прости... на судно пока пойдешь.

Хворостинин аж зубами скрипнул от злости. Больше всего в жизни сей боялся он слабости и беспомощности. Смерть – она что? Она от Бога. Просто твой черед пришел перед Судией отчет держать. Дряхлость, увечье, расслабление – вот горе истинное! Всем в обузу, всем в помеху...

С этой мыслью князь заснул, так и не успев взгромоздиться на судно.

Ослаб!

– Почему *эта* при моем муже сидит, руками его трогает и под исподней его рубахой пальцами копошится?

Хворостинин проснулся рывком, но объяснить толком ничего не успел:

– Дуняшенька...

А Дуняшенька наяживала не хуже косца ранним утром. Таково отмахивала, что едва только гром с молоньей под крышею не гремел.

– Ну не стыд ли? Федор! Зачем разврат ты тут устроил?! Митенька мой спит, едва живой, а ты к нему какую-то гулящую жонку допустил?!

– Знахарка моя... То для лечбы... рубаху приподнять да под нею повязку бы поправить... – смущенно держал ответ Тишенков-младший.

– Повязку? Поправить? Своему мужу я сама что хочешь поправлю! Никакая знахарка так ему не поправит, как я поправлю! Всё ему поправлю, что надо ему поправить! А больше никому соваться не надо и ничего поправлять ему не надо! Ишь ты, знахарка! В знахарках старухи скрюченные ходют, замшелые да скособоженные, а тут какова пава под бок ему села!

– Не бранись, сестрица... Не бранись, грешно это.

– А как невесть кого одну при Митеньке моем оставлять – не грешно, что ле?

– Уймись же ты, сестрица. Да она мне... – И тут Федор застрял, мучительно не понимая, как объяснить, что за женщина живет при нем.

– Ну и кто она тебе? – ядовито встряла Дуняша. А потом нажала: – Еще и тебе!

– Я холопка его... Фи-о-до-ра Ни-ки-тича... – подала голос зырянка, опустив голову, взора не отрывая от пола.

Дуняша сейчас же замолчала. Холопка – другое дело. К холопке ревновать нельзя, ибо она – никто.

Федор нерешительно кивнул, подтверждая:

– Так и есть... Взял я к себе в дом каргопольца одного, большого книжника, широкого ума человека, именем Касьян, прозвищем Глухарь, сын дьяконов. Книги мне переписывает, байки потешные плетет и, главное, храм новый ладит у меня в Рамонье. Во своих-то в Полуночных краях разодрался он с кем-то крепко, больно перечить всем любит. Нравен! Чуть не

прибили его там за злой язык. Так я его под кабалу взял: покуда слободен человек, нетрудно подъялдыкнуть его тому, кто посильнее; а как в кабалу запродался, почитай, оборону себе нашел – уже не с ним, а с господином его враг претываться будет. Касьян нынче за мною. Не как с холопом я с ним, но как с дорогим слугой, едва ли не как с товарищем с молодым... Берегу.

Дуняша повела бровями с досадою:

– Касьян-Касьян... А баба-то кем ему?

– Женою. Она мне по мужней кабале – холопка.

Услышав всё самое необходимое, Дуняша вмиг и думать забыла про коварную врагиню. Из сеней велела позвать хворостининского дворового, который нес за нею поклажу изрядной тяжести. Вот, объясняла она, заселяя стол свертками и сверточками, пирог брусничной, от него по всему телу свежесть; а вот пирог со смородиновым листом да кислицею, от него ясность в голове; а вот языки вяленые... а вот медок с чагою да с бессмертничком, да со зверобоем, сама делала, крепость от него всяческая... вот еще... а вот... а вот... авотавотавот...

– К чему всё сие, сестрица? Неужто у нашего отца в дому такового не найдут либо не сготовят? – недоуменно влез Федор в ее былинку о славных пирогах и травах.

Тут Хворостинин словил взгляд многоценной супруги своей, протянувшийся ко зырянке, да и ответный взгляд Анфусы, в мгновение ока брошенный из-под опущенных ресниц. Прямо в воздухе связались два взгляда во едину тропинку, протоптанную меж знатною женщиной и безродною, сделав их союзницами.

Разве понимают мужья да братья в таких делах? Молчали бы! Вот о чём немо договорились Дуняша с Анфусою за столь краткое время, коего не хватило бы хоть на едино биение жилки на шее. И Дуняша, махнув рукой, продолжила:

– А вот стекляница с кедровой живичкою, для заживления ран...

И только-только вымолвив про раны, сейчас же заплакала, на колени у ложа хворостининского опустилась и принялась целовать его в лоб, в подбородок, в щеки. А потом прижалась щекою к щеке, не забывая нежно упрекать мужа:

– Ну как же ты так? Угораздило же тебя, мой Митенька... ну можно ли так было?

«Ну да, – подумал Хворостинин, ответно поглаживая супругу, – как же я так? Должно быть, по пьяни на кочерёжку напоролся... Не берегуся, миленькой я мальчоночка!»

Меж тем сердце его пропустило удар: соскучился... Хорошо, что она пришла. Пусть хоть в чем его корит, лишь бы рядом была, лишь бы касалась его, лишь бы дух от ее волос дразнительно забирался в ноздри.

– Не бережешься, совсем не бережешься... – укоряюще мурлыкала жена.

И тако успокоившись у мужней щеки, поговорила еще немного про отцову печальную долю, про братнее буйство да и ушла, сговорясь забрать Дмитрия Ивановича третьего дни, не ранее.

Как только затворилась за нею дверь, Хворостинин спросил Федора о главном:

– Что брат твой? Объявился? Где он, снесь рачья?

– Эх, Митрей Иваныч, – назвал его Федор иначе, чем прежде, мягче, по-домашнему, – то тайна. Невесть куда скрылся мой шалопутный брат, а твой обидчик.

Хворостинин, ярясь на себя за проигрыш в сабельном бою, за боль и слабость нынешнюю, а пуще сердчая не пойми на кого из-за глупого, позорного раздрасия, случившегося вроде бы на пустом месте, стоившего дорого и обещающего, если размыслить, с течением времени стоять еще дороже, закрыв глаза, процедил:

– Господи! За что ж мне Твоя немилость такая? По каким грехам заслужена?

А Федор ему, ободрительно:

– Не спеши, Митрей Иваныч. Кого Бог любит, того испытывает. Может, и впрямь, за грехи ударил Он тебя, а может... поучить захотел. Милость Божья разною бывает, не нам судить.

Хворостинин лишь застонал в ответ. До чего же всё нелепо вышло!

– Погоди-ка! – встрепенулся вдруг Федор. – Ну-тко, будет тебе забава про милость Божью, какова она случается! Баечку про то не желаешь ли? Ох, баечка славная! Касьянка-то мой горазд баечки поведывать!

– Да всё равно лежу, досаду пополам с терпением пью...

– Кликни мужа, – попросил Тишенков-младший зырянку.

...В покой, где положили Хворостинина, шагнул хлипконький мужичонка с нечесаной бородою и мятым рябым лицом, а вместе с ним вошел твердый, яко кора древесная, запах бражки.

Вся одежда плюгавца – справная, хозяином, по всему видно, дареная, – стояла колом. Здесь моршит, там торчит... Рубаха, опояской неровно схваченная, изгибаясь, вновь заползала под нее и весь мир людской знакомила с серым, застиранным исподним.

«Из-под пятницы суббота...» – отметил про себя Хворостинин.

На животе два пятна толкались друг с другом: черное и бурое. «Как видно, в рот куски не кладет, всё пробует прямым ходом через пупок в утробу затолкать...»

Был мужичонка лысоват и непроворен: ходил походкой барсучью, валкой. За ухо заложено чистое, недавно очиненное перо, а ладони испятнаны чернилами. Кожа ветрами холодными продублена, вся в мелких язвинках.

Всё в нем было криво да серо, яко во псе приبلудном, шерстью в грязях поизгваздавшемся.

И только глаза смотрели остро, хватко.

«Непрост баечник Федоров. Ну да, чай, и сам Федор не из простецких. Пойди пойми его со всеми-то с Иоаннами-то Златоустыми...»

Касьян отвесил косой поклон – без особенного вежества. Мол, как вышло, так и кушайте. Не по поклонам-де я умелец.

– Садись-ка за стол, Глухарь, покажи дорогому гостю свое искусство.

– Пиитики ли надобно? – спросил каргополец скрипуче. И сразу же, ответа не дожидаясь, заговорил нараспев: – Ты чем мати-земля изукрашена? – Изукрашена земля церквами Божьими...

По голосу Хворостинин понял: либо книжник до крайности пьян, либо до крайности утомлен.

– Нет-нет! Не то! – замахал руками Федор. – Нам иное надобно. Вот я тебе напому: славная у тебя была повесть про инок, любившего звоны колокольные... Как же его? Семион? Савватей? Запоматовав... Ну-ка, понимаешь ли, о чем я? О какой твоей повести?

Касьян молчал.

Федор переспросил:

– Ну как же? Ты должен помнить! Намедни мне оповедал про...

Касьян громко засопел, развалясь на лавке, голову же оперев о ладонь.

– Тунеядец он у тебя! Ему работать, а он в лёжку.

– Нет, Митрей Иваныч! Он у меня и суесловец, и празднолюбец, и бражник, да что хочешь, Дмитрий Иванович, но только не тунеядец. Погоди-ка...

И Федор потряс книжника за плечо. Тот всхрапнул легонько, да и всё.

– Не вини Касьянку моего. Ночь напролет переписывал для меня древнекиевские «Беседы на Шестоднев», вот и умаялся.

Дмитрий Иванович рассмеялся:

– Хорош, ах, хорош! Петел, сладкоголосое создание, в обе ноздри свое кукареку выводит, глядишь, чуток потерпим, и добротным храпом покой сей прехитро изукрасит.

– Я не сплю! – вскинулся Глухарь, дико помотав головой. – Не сплю я!

– Таково вежество каргопольское, ветрами суровыми повитое, книжной премудростью спелёнутое... – потешался Хворостинин.

Смолчать бы книжнику, больно чин его невелик, да у него, видать, как у многих премудрых грамматиков, – ума палата, да ключ потерян. Взвился, осерчал:

– А что ж, и вправду у нас там сладости словесной поболе, чем у вас тут на Москве! И житие монашеское покрепче, и Бог к нашим благоуханным дебрям поближе! Хто я таков? Праха золотничок, букашечка-таракашечка, Спасовой обители, что под Усольем Тотемским, игумна Феодосия, истинно святой жизни праведника, непутёвый ученичок. Ан шел сюды, мыслил: вот, со московскими со великими книжниками перемолвлюсь да шапку скину пред их дивным разумением, вышло же иначе. Не с кем тут умному человеку и беседу-то завести! Суета сплошная, о серебреце забота беспробудная да о чинах, грубиянство, стяжательность и невежество! О высоком же и о божественном некоторого старания. Где ж тут завестись риторам да философам, когда одно токмо безмысленное мельтешение: туда-сюда, туда-сюда! Один разве инок Еразм неглуп. Да еще с Соловков книжный чернец приезживал, насладился я с ним вдовсталь виноградом книжным, да и тот наш человек, то ли новгородч, то ли устюженин, едино не москвитин! Еще вот большой дворянин Михайла Андреевич Безнин, говорят, в летописях умудрен, да он меня и слушать не стал, палкою погнал со двора: «Какое, – говорит, – у тебя ко мне великих дел обсуждение, когда ты для таковых дел рылом не вышел и как есть таракан запечный!» Такова ныне Москва-то.

– Москва ему не по ндраву! – уязвился Хворостинин. – А соборы ты наши видел ле? Покровский, что на рву? Успенский, что у государя в Кремле? Архангильской тамо же? Иные?

Касьян Глухарь, услышав его укоризну, сей же миг растерялся, с повадки дерзостной сбился, даже губы надул от обиды. А потом очи возвел горé, словно бы увидев на потолке некое тонкое видение либо мечте предавшись, да и рассмеялся смехом добрым, детским. Был строптивец, стал – воск податливый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.